В. В. СВЯТЛОВСКИЙ

НЕ КОПИРОВАТЬ

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИДЕЙ В РОССИИ

Том I

МЕРКАНТИЛИЗМ, ФИЗИОКРАТИЗМ, КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ РАЗВЕТВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО „НАЧАТКИ ЗНАНИЙ".
ПЕТРОГРАД — 1923

БА
201
С2
Пост 36

БИБЛИОТЕКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ
1510
23.

Петрооблит № 5400. Зак. № 506. Тираж 5000 экз.

Военная Типография Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
(Площадь Урицкого, 10).

ГЛАВА I.

ЗАРОЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ.

(НАКАНУНЕ МЕРКАНТИЛИЗМА).

1. Киевская Русь.

Великий перелом, отделяющий современность от минувшего, переход от старого натурального к новому денежному порядку является и в истории России той великой гранью, с которой начинается новое социально-экономическое развитие страны.

Этот важный в истории перелом начался для экономически более развитых стран Западной Европы еще в XIII веке, а для экономически более отсталых, как, например, Россия, в XVI-м. Для Запада время этого перелома определялось различно. Проницательный взор Огюста Конта ставил, вопреки общепринятому мнению, перегородку, отделяющую средневековье от ново-исторической жизни, в XIII столетии. Для севера Италии и Франции и для Англии конец XIII века представляет собой начальное время этого перелома, происходившего в государствах Европы не одновременно; фронт этого перелома подвигался по мере развития самих стран, вступавших в концерт экономически-передовых стран Европы. Восточно-европейские сельскохозяйственные равнины с их убогою и запоздалою промышленностью и с их медленным и скудным торговым оборотом естественно являлись в этом деле наиболее отставшими и запоздавшими участниками.

Россия с середины XVI века вступает в этот процесс, повинуясь его общим законам и условиям, ведущим от ступени к ступени, от одной формы к другой. Между тем на заре русской истории, в эпоху между IX и XII веками древняя Русь знает особый период развития, носящий наименование Киевской Руси, и этот период в силу особых исторических и экономических условий нарушает стройность

принятой теоретически схемы развития древне-русской экономической жизни.

Создавшийся под влиянием мировых торговых путей того времени и в результате сложных местных исторических условий и влияний, социально-экономический уклад Киевской Руси представляет собой особую форму хозяйственного быта с дуалистическим характером. Натуральное хозяйство, покоющееся на земледелии,—в итоге развивающейся и усиливающейся внешней торговли, проникается более сложными денежными отношениями. В Киевской Руси создается тот своеобразный промежуточный строй, который мы видим у ряда западно-европейских народов и который охарактеризован мною, как особая форма примитивно-торгового государства, свойственная в свое время многим странам Запада [1]).

Примитивно-торговое государство, как промежуточная форма, естественно не укладывается в рамки натурального хозяйственного строя, но оно не соответствует и первоначальным стадиям денежного хозяйства. Оно имеет особую характерную социально-экономическую структуру. На основе натурального хозяйства, не переходящего еще в целом в хозяйство денежное, развиваются значительные хозяйственные обороты и складываются у некоторой части населения торговые капиталы и определенные торговые интересы. Города, как центры внешней торговли, приобретают особо важное значение, хотя вся внегородская масса живет еще первобытными хозяйственными интересами и является только резервуаром, из которого выкачивается сырье. Внешняя торговля Киевской Руси составляет только часть тогдашней мировой торговли, с которою она тесно связана и в которую вплетается, как одна из ее существенных частей. Таким образом на заре нашей истории нормальный, казалось бы, порядок нарушен, правильность естественной схемы сломана, и в лестницу нормального развития вдвигается новая ступень, изменяющая первоначальный шаблон развития. Поэтому на этом местном, так ска-

---

[1]) Святловский, В. В.: Примитивно-торговое государство, как форма быта. Спб. 1914 г.

зать, национальном отступлении, на местном варианте общего развития необходимо остановиться с целью его выяснения.

Пути мировой торговли в IX, X и XI веках шли через Киевскую Русь, поэтому горячее оплодотворяющее дыхание мирового рынка интенсифицировало все народно-хозяйственные процессы Киевской Руси. Она быстро эволюционирует; развивается денежное хозяйство. Появляются первые признаки накопления капитала, они охраняются и защищаются государственной властью, как ростки первой экономической силы. Вместе с Киевом на тех же основаниях на севере втягиваются в торговлю Новгород и Псков. Их хозяйство того же уклада, того же типа, так же резко отличается от остальной Руси, не оживляемой внешнею торговлею. Товары идут по многочисленным торговым путям Киева, расходившимся во все концы тогдашнего мира: и в Грецию, и в Норвегию, и в Западную Европу, и в восточные страны. Сам Киев являлся большою узловою станциею „из Варяг в Греки". Сюда везли главнейшие предметы тогдашнего экспорта: меха, мед, рабов и другие ценные товары древней торговли. Особенно важны были торговля мехами и торговля людьми — работорговля.

Древне-русская торговля мехами общеизвестна и понятна. Менее известна торговля рабами. Рабов промышляли, рабами торговали, рабский труд был основою благосостояния сильных и богатых. Отсюда основным товаром киевского рынка был раб. Это—фундамент всего тогдашнего хозяйственного строя, источник прибыли и накопления.

Киевское землевладение покоилось на рабовладении. Князь, боярин, дружинник, монастырь—сами не пашут, за них работает челядь. В больших имениях было по нескольку сот человек „пашенной челяди". И так как раб (кощей) и рабыня (чага) были излюбленным и ходовым товаром киевского торга, то для богатого человека вопрос о покупке холопов не представлял затруднений.

Древние арабские описания руссов изображают их, как работорговцев. Ибн-Даста (гл. 6, § 2) говорит: „когда руссы „полонят народ", то отправляют в Хазеран и к болгарам и продают там"; это утверждают не только иностранцы.

И в древнейшем уже торговом договоре русских с греками (911 г.) говорится о челяди (рабах), как о главнейшем товаре. Согласно первому юридическому памятнику „Русской Правды", челядин был главным видом движимого имущества. Киевский князь Владимир Святой был крупным рабовладельцем. Автор „Слова о Полку Игореве", мечтая о военных удачах, думает, что при победе русских наступило бы желанное время дешевизны: „была бы тогда" чага (рабыня) „по ногате", а кощей (раб) „по резане".

Захват и войны были обычным источником добывания челяди, если не считать источником рабства происхождение от рабов и, что важнее, кредит.

Княжеские усобицы, которыми полна история Киевской Руси и которые, на первый взгляд, не имеют никакого реального смысла, на самом деле имели глубокое экономическое основание: „ополониться челядью" было заветною мыслью всякого князя и его дружины,—политический спор „из-за столов" только прикрывал экспедицию за живым товаром, как теперь разбойничьи колониальные войны прикрываются „национальными потребностями" и „интересами цивилизации" [1]).

Все же главным источником древне-русского рабства был кредит и условия займа. Кредит же естественно возникал среди народа, где были и сильные и слабые, и где слабым приходилось занимать у сильных. Неоплатный долг приводил бедняка к долговому холопству и закупничеству — институту, пришедшему к нам из Скандинавии. „Закуп" Русской Правды—точная копия долгового раба скандинавских правд.

Закупничество, результат займа—приводило к состоянию полного и вечного рабства; при этом труд раба возмещал только проценты по найму, но не занятый капитал; такой вечный раб становился движимым имуществом, которое можно продавать, закладывать, уничтожать.

Обычная ссуда, приводившая к закупничеству, состояла из ссуды сельскохозяйственного инвентаря, живого и мертвого. Заем плуга, бороны, лошади или ро-

[1]) Ср. Покровский, М. Н., проф.: Очерки по истории русской культуры. М., в. I, стр. 57.

гатого скота при неуплате заканчивался несвободным состоянием заемщика. Основной кодекс защиты имущих Киевской Руси, „Русская Правда“ дает обстоятельный перечень постановлений о разных видах займа сельскохозяйственных предметов. „Деньги“ (скот) также давались взаймы. По древне-русскому закону полагалось кроткое обращение с рабом, с разрешения господина он мог иметь собственность, но передавать по наследству рабу не позволялось. Отсюда юридическое положение рабов в древней Руси больше всего схоже с древне-германским. „У них и у нас,—говорит проф. В. И. Сергеевич,—первоначально рабство поставлено совершенно одинаково. И русские и германцы знают только один вид рабства—полное, у нас—обельное“ [1]). Выход из рабского состояния был очень труден, но положение раба на высшей должности в крупном хозяйстве (княжеские и боярские тиуны, тиуны огнищанные, конюшенные, сельские) все же было сносно.

Торговля и связанная с нею прибыль, эксплоатация рабов и ростовщичество—все это создавало первое накопление капитала и вызывало в итоге и государственную охрану капитала и защиту высокого процента.

2. Смысл первых памятников. Охрана и защита капитала.

Наличность значительных средств в руках отдельных групп уже начавшего расслаиваться населения не могла не вызвать определенного отношения к капиталу как со стороны государственной власти, так и со стороны правосознания богатого правящего класса. Отсюда, естественно, не могло быть и речи об индифферентизме в сфере хозяйства, что было бы вполне уместно при отсутствии денежных отношений. И так как правящий класс был обладателем значительного денежного капитала, то он и стал на его охрану и защиту. С этой точки зрения необходимо было не только оберегать капитал от притязаний на него, но и приходилось

[1]) Сергеевич, В. И., проф.: „Законы царя Хаммураби“ и „Библия о несвободных“. „Журнал М. Юстиции“. Спб. 1908 г. № 9 (Ноябрь), стр. 16.

регламентировать отношения к нему остальных, преимущественно неимущих классов, впадавших во все большую бедность и материальную зависимость. В итоге получилась ранняя детальная регламентация вопросов кредита. Ее содержат все древне-русские юридические памятники. „Русская Правда“ и „Псковская Судная Грамота“, а также первые „договоры“ с иноземцами (договоры с греками X века); эти договоры были по сути договоры торговые. Вопросами торговли и кредита занята и народная мысль; многие пословицы, поговорки, легенды имеют своим содержанием вопросы кредита, особенно кредита ненормального, т.-е. ростовщичества. В Карамзинском списке „Русской Правды“ 23 статьи устанавливают целую систему кредитных отношений, направленную к охране и защите заимодавца и его прибыли. В том же памятнике содержится также статья, разрешающая совершать мелкие кредитные сделки (в размере до трех гривен пуд) без свидетелей, причем суд вполне доверял присяге кредитора. Такое изъятие равносильно, конечно, признанию мелких сделок обыденным и общераспространенным явлением.

„Русская Правда“,—совершенно верно замечает Ключевский,—есть по преимуществу уложение о капитале [1]).

Тот же автор дает блестящую характеристику роли капитала в указанном памятнике. „Капитал служит предметом особенно напряженного внимания для законодателя; самый труд, т.-е. личность человека, рассматривается как орудие капитала: можно сказать, что капитал—это самая привилегированная особа в „Русской Правде“. Капиталом указываются важнейшие юридические отношения, которые формулирует закон последний строже наказывает за деяния направленные против собственности, чем за нарушение личной безопасности. Капитал служит и средством возмездия за те или другие преступления и гражданские правонарушения, на нем основана самая система наказаний и взысканий. Само лицо рассматривается в „Правде“ не столько как член общества, сколько как владетель и производитель капитала:

[1]) Ключевский, В., проф.: Курс русской истории, т. I, изд. 3 М. 1908 г., стр 304.

лицо, его не имеющее и производить его не могущее, теряет права свободного или полноправного человека“ [1]).

Вообще „Русская Правда“—этот важный памятник Киевской Руси—кодекс охраны раннего русского капитализма. Нельзя поэтому согласиться с профессором В. Удинцовым, неправильно усматривающим в „Русской Правде“ отражение „характера простого деревенского быта, в котором предметы обращаются только как средства удовлетворения потребностей и никогда не фигурируют в качестве товаров“ [2]).

Нельзя присоединиться и к его наивной характеристике древней Руси, как „страны, удаленной от центров старой культуры“, а древне-русских городов—только как „крестьянских рынков, сделки на которых носили примитивный характер и в регламентации почти не нуждались“ [3]). Впрочем, и сам Удинцов сомневается и в новгородском и в киевском происхождении „Русской Правды“ и считает „Краткую Правду“ сложившеюся до этой эпохи. Тот же автор вынужден признать, что в пространной „Русской Правде“ уже открывается совершенно новый уклад хозяйственной жизни. „Два-три века,—говорит он,—разделяющие эти своды, совершенно изменили политический строй древне-русского общества“ [4]).

Нет сомнения, что указанное изменение произошло значительно раньше, и что законодательный памятник зафиксировал условия более ранние, чем время его составления. Ведь реальная жизнь всегда и всюду опережает писанный закон.

Таким образом стихийные бессознательные хозяйственные инстинкты создавали первые опорные пункты капиталистической идеологии, и, естественно, группы с иными хозяйственными устремлениями не могли оставаться пассивными и, хотя полусознательно и бледно, но все же реагировали на поползновения своих экономических противников. Конечно, все эти проявления протекали тускло, медленно, стихийно, не выявлялись ярко и определенно, а потому слага-

---

[1]) Там же, стр. 305.
[2]) Удинцов, Вс., проф.: История Займа. Киев, 1908 г, стр. 9.
[3]) Там же, стр. 17.
[4]) Там же, стр. 17.

лись в неясный, бледный, но с неизбежною необходимостью развивающийся процесс.

Торговый капитализм в России явился основным экономическим фактором народного хозяйства страны. Это движущая пружина жизни, лежавшая в основе всех бытовых явлений и общественных настроений. С переменою формы капитала изменялся и характер русских условий и вытекавшая из них идеология. Последующий капитализм из преимущественно торгового становится аграрным, затем промышленным. Конец XIX и начало XX века захватывают начатки ряда еще высшего типа развития капитализма, капитализма финансового.

3. Древне-русский торговый капитал.

Хозяйство Киевской Руси складывалось в направлении эпохи так наз. первоначального накопления.

Те же явления наблюдались затем на севере в Новгороде и во Пскове, а позднее в Московской Руси, где рост торгового капитала становится определенною чертою всего хозяйственного уклада. Торговля Новгорода и Пскова—членов Великого Ганзейского Союза—естественно еще типичнее, чем в Киеве, отражала общие торговые условия тогдашней Западной Европы. Поэтому торговые договоры Новгорода с Западом и новгородский торговый регламент „Скры" определенно нормируют те отношения, которые к этому времени устанавливаются. Ими нормируется вся жизнь, и новгородский кафедральный собор, собор св. Софии, служит первым банком торговой вольнолюбивой северно-русской республики. Новгородская жизнь носит все характерные черты молодой капиталистической страны.

Рабовладение продолжает играть важную роль, и поэтому раб—ценное имущество по тогдашним юридическим понятиям. Право господина отыскивать своего бежавшего раба обстоятельно изложено в трех статьях „Русской Правды", а именно в 16, 17 и 20-й. Укрывать бежавшего раба воспрещалось. За приют чужого раба налагался штраф в 5 гривен, за его выдачу награда в 1 гривну. Вообще

рабство поддерживалось и удерживалось законом: рабство одного из супругов вовлекало в рабство и другого супруга.

Варяжское нашествие усугубило размеры рабовладения, сделав из рабов не только источник трудовой энергии, но и объект торговли. Выражаясь языком библии, рабы, действительно, были у нас в древности „серебром господина своего“ (Исход, XXI, 20, 21). Это „серебро“ искалось всюду и с большою энергией сохранялось и накоплялось.

Таковы условия, на почве которых складываются начатки первой русской идеологии. И эта идеология Киевского периода, еще не осознанная вполне, почти стихийная, определенно вырисовывается в первых исторических памятниках; из них главнейшие — торговые договоры Киева с Византиею и „Русская Правда“ Ярослава Мудрого. Несмотря на разницу во времени и месте, договор Новгорода с Ганзою и „скры“ новгородские по своему типу должны быть причислены к этому хозяйственно-историческому периоду. Основная социально-экономическая задача и, так сказать, внутренний смысл этих памятников — защита интересов нарождающегося торгового капитала, его посредников и товаров. Торговый капитал и его стремления вызывают первую резкую социальную дифференциацию населения, социальная защита капитала проникает глубоко через сравнительно однородную хозяйственную массу. Возникает первая слабо осознанная оппозиция капиталу. Зарождается противоречие и антагонизм между богатыми и бедными, т.-е. между группами, уже владеющими капиталом, и группами, им не располагающими. Богатый — это сильный и следовательно эксплоатирующий, бедный — это слабый, зависимый, эксплоатируемый. При этом взимание процента, резоимство, является одним из важнейших аппаратов накопления. Плата процентов особенно возмущает слабых. Местное ростовщичество, наиболее яркое проявление эксплоатации бедного населения капиталом, вызывает особенно энергичное осуждение и возмущение. Против идеологии богатых — защиты капитала — намечается идеология противоположная — порицание и осуждение и капитала, и ростовщичества, и существования богатства вообще. Раскол

в населении и его интересах отражается в расколе его идеологии. Отныне намечаются два противоположных течения: одни отстаивают новый денежный порядок, другие его осуждают.

Итак, зачаточная экономическая идеология Киевской Руси неизбежно двойственна: богатые отстаивают „новизну", другие на нее нападают; богатые и сильные стоят за новые денежные отношения, за капитал, другие—против. При этом мысли тех и других оформливаются в атмосфере христианской догматики, в единственной тогда духовной атмосфере. В конце концов все складывается в духе этически-религиозного миросозерцания. Хозяйственные вопросы рассматриваются, обсуждаются и оцениваются в Киеве, как и повсеместно в средневековой Европе, с точки зрения морали. Суждения по экономическим вопросам превращаются в морализирующие поучения.

Это отразилось и в литературе русского средневековья, она тоже отражает тогдашние социально-экономические условия. И этот вид литературных памятников, поскольку они затрагивают хозяйственные проблемы, целиком не выходит из пределов религиозно-нравственного направления. Обычные, неизбежно бледные, первые литературные отражения жизни несколько оживляются при обсуждении вопросов милосердия и в укорах за ростовщичество. Мысль становится красочной и определенной и даже временами возвышается до подлинного социального пафоса.

Будучи сходной по экономическому укладу, страна и по своей идеологии была сходной с западно-европейскими странами того же периода. Но в общем менее определившаяся средневековая Русь отличается от современных ей стран скудостью идейности в области социального творчества. В средневековой Руси все аналогичное Европе более бледно, более бескрасочно и вяло, чем на Западе. Мысль не возвышается еще до оформления своих социально-экономических желаний, не заостряет своих хозяйственных устремлений и неохотно выходит из состояния пассивного зоологического прозябания.

4. Древне-русский протест против социального неравенства и экономического гнета.

Между тем социально-экономические условия Киевской Руси не таковы, чтобы с ними примиряться. Грубый произвол сильных, притеснение обездоленных и неимущих со стороны богатых и власть имущих, систематическое истязание рабов-холопов, невероятное по своей тяжести ростовщичество, подкупность суда, пытки—все это не встречало отпора ни со стороны лучших людей, ни со стороны народной массы. Богатые и сильные,— говорит знаменитый проповедник XIII века, епископ Серапион,—„акы звери“ в своем ненасытном стремлении к приобретению и порабощению „жаждали абы всех погубити ненасытством, имения порабощали, не миловали сирот, не знали человеческого естества“ [1]). И если редко, крайне редко слышался где либо голос протеста или твердое заявление возмущения, это был просто вопль истерзанной души, неоформленный крик негодования. Он исходил из низших, эксплоатируемых слоев населения, от трудящегося народа.

Этот вопль встречается во многих памятниках: в знаменитом „Слове“ несчастного Даниила Заточника, в ряде сказаний и легенд, в проповедях с амвона, в церковных поучениях и т. п. Вопль народа интересен и важен, как характеристика первого, еще смутного отношения народа к социальной проблеме, как свидетельство о наличности социального гнета и несправедливости, как протест против социального порядка.

Автор одного из древнейших русских сочинений, благородный Даниил Заточник предпочитает полную нищету, связанную с нравственной свободой, высокому материальному благополучию в доме своего притеснителя.

„Лучше мне видеть,—пишет он из далекого заточения,—свою ногу в лапте, нежели в красном сапоге на боярском дворе; хоть золотые кольца вставь в уши котлу, все же дну его не избыть своей черноты: так и холопу. Сколько ни гордись он, но укора своего ему не избыть—холопьего

[1]) Прибавления к творениям св. отцов за 1843 год, ч. 2, стр. 195.

имени. Лучше мне воду пить в своем дому, нежели пить мед в боярском дворе... Говорится в мирских притчах: не птица в птицах нетопырь, не зверь в зверьях еж, не рыба в рыбах рак, не холоп в холопах, кто у холопа работает".

В некоторых церковных проповедях, разысканных А. Щаповым в монастырских библиотеках, также встречается этот вопль, но ценность его в значительной мере умаляется общим свойством всех церковных проповедей, обыкновенно далеких от жизни и чуждых реальных мотивов, впадать в декламаторский тон, мало искренний и непростой.

Впрочем, и здесь иногда встречаются выражения неподдельного и глубокого негодования: „Богач,—гремит „Слово о немилостивых богатых" неведомого пастыря в рукописном Измарагде XV века, сохранившемся в библиотеке Соловецкой обители, — ты зажег на светильниках церкви свои свечи. Но вот сюда же пришли обидимые тобой рабы, сироты и вдовы с воздыханием к богу на тебя. Они слезами своими погасят твою свечу. О, лицемерие! Лучше бы тебе не обидеть их, чем освещать храм божий несправедливо собранным воском. Лучше помогай тем, кого ты изобидел. Это лютость, а не милостыня,—рабов обидеть, а других миловать; одних заставлять работать, а других наделять. Если и подашь ты когда милостыню убогим, то ежели рабы твои, пасущие стада, потравили нивы сиротины, а другие рабы твои мукою и неправдой приневолены к работе, босые и нагие, голодные и избитые невинно, а иные изморенные безмерными накладами, иные сел тобой лишенные и ограбленные, те все с плачем вопиют на тебя к богу. Что и милостыня твоя, неправедный судия? Лучше оставь неправды твои и сделай рабов своих беспечальными, чем богу безумно приносить неправедно собранное имение: тот истинно милостивец, кто от своей силы, от своего труда даст".

Поздние обличения общественного неустройства и несправедливости хозяйственного уклада страны становятся на более конкретную почву. В них содержатся указания на недостатки финансового хозяйства, на неравномерность обложения, на обременительную и недобросовестную систему организации взимания налогов.

Вообще податная система и порядок взимания налогов являлись большим злом для населения.

Сборщики податей, особенно сборщики „мыта“ и ростовщики, к которым беднота вынуждена постоянно прибегать, систематически вызывали глухой народный ропот. Мытари, сборщики пошлин, считались великими грешниками: „мытоимство разбойничества злее“. Так же смотрели и на взимание процентов, „резов“, которые доходили до невероятной высоты. „Русская Правда“, памятник правотворчества Киевской Руси, узаконяла необыкновенно высокий рост, результатом которого являлась кабала. Не только в Киевской Руси, но и позднее в XIII, XIV и XV веках проценты или „резы“ были очень высоки. Взимание больших процентов считалось делом кровавым („кровавое резоимство“). Митрополит Никифор в одном из своих поучений говорит, что „плоть братскую едят резоимцы“. Но князь христианской церкви не настаивает, как можно было бы ожидать, на отмене процентов и лишь рекомендует их понижение. По его мнению, следует взимать „на пять шестой“, т.-е. не более 20%. Христианство, как всегда, требует только смягчения существующего порядка, а не его радикального изменения.

К суждениям народа о ростовщичестве дает нам характерную иллюстрацию новгородское сказание о посаднике Щиле. В юности Щил был „великий резоимец“, чем нажил себе громадное состояние. Почувствовав приближение смерти и желая „замолить грехи“, посадник строит за свой счет обширный храм, на освящение которого приглашается архиепископ. После торжественного освящения выстроенной им церкви, Щил не успокаивается, он просит у владыки совета о полном очищении от грехов. Архиепископ советует ростовщику лечь посреди церкви в саване в гроб и отпеть себя. Но когда совет был исполнен, совершается чудо: живой мертвец с гробом опускается в расступившуюся землю,—высшая правда не прощает истязателя народной бедноты. И только сыну Щила, совершившему ряд богоугодных дел, раздавшему свое богатое наследство нищим, удается „отмолить отца“. По мере возврата народу награбленного, гроб постепенно поднимается

на поверхность земли и „мертвец“ появляется перед народом.

Подобного рода легенды аллегорически изображают общее направление мысли и настроение народной массы. Так зарождаются первые этапы общественной мысли и восходит первая заря нашего народно-хозяйственного самосознания. Медленно, едва заметно оно пробивается на протяжении веков, следуя за медленным развитием русской социально-экономической жизни. Конечно, бывали моменты потрясений, когда сразу происходил пересмотр всех отношений. Таковы моменты исторических народных бедствий, как, например, татарское нашествие и татарское иго, или эпоха Смутного времени. Таковы дни стихийных восстаний Степана Разина (1670—1671) и затем Емельяна Пугачева (1774—1775).

Исторические бедствия рассматривались прежде всего с религиозной точки зрения. В них усматривали „божие попущение“ и наказание за грехи и взаимные распри правящих князей. Наиболее ранние русские литературные произведения XIII века тесно связаны с такими крупными переживаниями. Таковы:

1) Повести о былинном богатыре Алеше Поповиче.

2) Былина о том, как перевелись богатыри на Руси“.

3) Сказание о „Камском побоище“. „Камское“—искаженное наименование вместо „Калкское“; „Камское побоище“—в действительности битва при Калке 1223 г.

4) Повесть об Евпатии Коловрате, т.-е. о втором пашествии татар (1237).

5) „Слово о погибели земли русской“—общая характеристика разгрома XIII века.

6) Поучения Серапиона, вызванные церковным Собором 1274 года.

В перечисленных произведениях рисуются массовые стихийные настроения XI, XII и XIII вв. В них определенно выражена рознь интересов богатых и бедных.

Народные симпатии всегда на стороне последних. Индивидуальные протесты еще совершенно отсутствуют. Только изредка раздается или неоформленный и одинокий протест,

вроде вопля Даниила Заточника, или защита попранной жизни бедноты с точки зрения христианской религии, вроде поучений епископа Серапиона и других пастырей древне-русской церкви, проникавшихся социальными настроениями. Их объединяет общий протест против неправды жизни, социального неравенства и порабощения слабых сильными.

Упомянутое выше „Моление" Даниила Заточника принадлежит к числу первых политических трактатов древней Руси и может быть отнесено к XII в. или первой половине XIII века. В нем трактуется об обязанностях князя перед своими подданными. Для эпохи удельно-феодальных отношений „Моление"—весьма важный исторический источник. Текст „Моления" впервые был напечатан в середине XIX века.

Литература об этом периоде значительна, но с экономической точки зрения мало разработана. Из общей массы выделяется послание Даниила Заточника. Его „Моление" дошло до нас в двух редакциях. Первоначальная, первой половины XIII века, написанная в Переяславле, носит местный колорит. Это так наз. вторая редакция (Ундольского и Чудовского монастырей). Так наз. 1-я редакция—позднее по времени, она составлена в конце XIII в. в Новгороде. Литература о Даниле Заточнике (другой Даниил Паломник относится к началу XII века):

Модестов. О послании Даниила Заточника, в „Журнале Мин. Нар. Просв." за 1880 год.

Шляпкин. Слово Даниила Заточника. Спб. 1889. Здесь приведена обширная библиография „Слова", доведенная до 1882 г., и две редакции „Моления". Впервые текст был напечатан в 1856 году в журнале „Русская Беседа".

Лященко, Арк. О Молении Даниила Заточника. Спб. 1896 г.

Гуссов, М. Я. К вопросу о редакциях „Молений". Одесса, 1899 год.

Истрин, В. М. Был ли Даниил Заточник действительно заточен? Одесса 1902 г.

Миндалев, П. Моление Даниила Заточника и связанные с ним памятники. Казань, 1919 г.

О поучениях епископа Серапиона Владимирского имеется специальная монография Евгения Петухова: Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. Спб. 1888 г.

О литературе Киевского периода вообще можно указать:

Щапов, А. П. Социально-педагогические условия развития русского народа. Спб. 1870 г. Перепечатано в III томе его „Собрания сочинений"—Петербург, 1908 г.

Владимиров. П. В. Древняя русская литература Киевского периода XI—XIII вв. Киев, 1901 г.

Аничков. Е., Бороздин, А. и Овсянико-Куликовский. История русской литературы, т. I, вып. I. Москва („Мир"), 1908 г.

Покровский, М. Н. Очерки русской культуры, вып. I.

Плеханов, Г. В. История русской общественной мысли. Москва, 1914 г., т. I.

Истрин, В. М. Очерк истории древне-русской литературы. Петроград („Наука и Школа"), 1922 г.

Келтуяла, В. Курс истории русской литературы. т. II. 1913 г.

ГЛАВА II.

ЗАРОЖДЕНИЕ МЕРКАНТИЛИЗМА.

1. Отличие Московской Руси от Киевской.

Киевская Русь представляла собою ту совершенно особую стадию экономического развития, в которой натурально-хозяйственный уклад осложнялся ростом торговли. Сложное примитивно-торговое государство, сочетающее земледельческий промысел с нарождающимися зачатками торгового капитализма, составляло социально-экономическую основу Киевской Руси. Эта форма имела свое развитие, расцвет и падение, уступив место новой стадии развития, представляющей собою возврат к натурально хозяйственному укладу.

Возвысившаяся после падения Киевской Руси—Русь Северо-Восточная перенесла центр тяжести хозяйственной жизни с торговли в земледелие. Не торговые гости и торговые договоры, а интересы землевладения и полеводства

стояли теперь на первом плане. Постепенно вырастает и упрочивается боярское землевладение. Боярская вотчина, а не торговый двор,—вот центр внимания всего населения, ибо это новый центр хозяйственной жизни.

Боярская вотчина—это большое, замкнутое, в своем роде ойкосное хозяйство, которое, как тип, как основная хозяйственная ячейка, держится целые столетия. В экономическом смысле крестьянский двор любого периода Московской Руси, боярская вотчина, поместье или дворянское имение—одна и та же форма, один и тот же тип владения и хозяйства. Это самоудовлетворяющаяся замкнутая единица, руководящаяся принципами домашней экономии.

На высшей ступени своего развития эта форма осознает свои особые хозяйственные, почти классовые интересы и зарождает свою идеологию, идеологию замкнутого самодовлеющего хозяйства, которую знают и древность („Киропедия" Ксенофонта) и средние века („Заточник из Бари"). В Московской Руси эта хозяйственная форма получает свою идеологию в известном „Домострое" попа Сильвестра. Поэтому для характеристики этого периода важно изучение источников, социально-исторического смысла и социально-экономического значения этого памятника идеологии наших крупных феодалов.

Вторым течением, заслуживающим внимания, является отслоившаяся группа более мелких, чем вотчинное хозяйство, хозяйств. Их защитником и идеологом является автор „Слова о вере" Стефан Вонифатьев, требующий упорядочения хозяйства и внимания к интересам работников земли мелкого калибра.

Проект, приписываемый Стефану Вонифатьеву, духовнику царя Алексея, об основаниях благоустройства крестьянства [1]) получил название „Слова о Правде". „Если поискать в нынешнее время благоверного царя,—льстиво говорится здесь,—то не знаем во всех народах, кроме русского народа, правоверующего царя. И если царь наш верою прав, то он должен неленостно изыскивать и рассматривать все, что относится к общему благополучию всех его подданных. Не

[1]) В „Слове о Правде", напечатанном в томе 2 м Архива историко-юридических сведений о России, Калачева. М. 1855.

о благе одних вельмож печись, но и о всех до самого последнего. Ибо вельможи нужны; но они никогда не удовольствуются одними своими трудами".

Где же центр тяжести жизни? „Прежде же всего,— говорит Воинфатьев, — нужны земледельцы; от их трудов производится хлеб; а хлеб главизна всех благ..... Земледельцы беспрестанно переносят различные работные бремена, то дают денежные оброки, то ямские сборы, то другое что-либо. А эти люди (вельможи), если когда бывают посланы за царскими сборами, то сверх царского указа и себе много собирают с земледельцев, также и те, которые посылаются для прокорма коней; на ямские расходы много серебра выходит. Много также обиды бывает земледельцам и от того, что когда царские землемеры-писари ездят по своему землемерному делу, то отмеривают царским воинам землю и всякому полагают землю врозь, и от того много медлят и много корму у крестьян съедают. О многих царствах мы читали, а такого злоупотребления не знаем. Ямской порядок должно устроить весь подробно по расписанию—от города до города. И тем, которые в городах торгуют, скупают и прикупками богатеют, и им должно носить этот ярем между всеми городами, ибо владеют большими прибытками. Кроме же этого ярма, никаким другим лишениям да не подвергаются, но пусть во всех городах без всяких воздаяний покупают и продают. Таким образом всякий мятеж земский умалится, и писари уменьшатся, сборы прекратятся и взяток не будет".

Наряду с тем мы видим, как отслаивается и мелкое поместное дворянское землевладение. Его интересы антагонистичны крупному боярскому землевладению. Боярство и дворянство естественно вступают в борьбу, что немедленно находит себе отражение в их идеологии. Это—по своему классовая борьба, или, вернее, борьба подгрупп того же феодального класса.

Ее отражение мы встречаем в сочинениях Ивана Семеновича Пересветова, русского Бодэна, яркого борца за интересы мелкого дворянского землевладения против боярства. Он ведет ту же линию, что и центральная монархическая власть, стремящаяся разрушить экономическую силу и зижду-

щуюся на ней политическую власть русских феодалов. Растущая монархия требует денежного оборота и концентрации материальных сил—основной экономической базы для ее прочного существования.

Таким образом русские условия, на первый взгляд такие своеобразные и особые, складываются совершенно сходно с условиями европейскими, где монархия в соединении с группами экономически слабыми в конце концов разрушает феодализм, создавая почву для торжества торгового капитала.

Мы переходим, тем самым, в преддверие меркантилизма, этой деловитой экономической политики монархической власти. Пересветов, Ордын-Нащокин, Юрий Крижанич, потом Петр Великий и Посошков—первые русские меркантилисты, разными путями оформливающие эту идеологию. Россия развивается до меркантилизма и тем уже окончательно сравнивается с тогдашнею Западной Европой. Ведь и та выбивается уже к этому времени на широкие пути меркантилизма. Более определенные черты европейского меркантилизма как бы прокладают путь более вялому и отсталому русскому меркантилизму, ведущему страну в направлении к созданию буржуазного общества.

Родственные буржуазные страны естественно имеют ряд общих точек соприкосновения. Поэтому хозяйственные процессы Запада и России сближаются, они становятся в общих и грубых чертах тожественными. Но на Западе процесс совершается глубже, острее и раньше, идеология оформливается резче и определеннее, поэтому становится возможным, естественным и необходимым заимствование с Запада, как идущего впереди по той же линии. Это заимствование в формах жизни, а следовательно и соответствующее оформление в идеологии и духовное сближение родственных хозяйств начинается с XVI века и становится более определенным и заметным в течение XVI и XVII веков. Россия жадно подхватывает и усваивает только то, к чему она имманентно стремится и что,—в том же направлении развития,—более скристаллизовалось и оформилось на Западе. Сходные буржуазные основания создают единую и общую идеологию, окончательно сближающую и всецело роднящую „Запад“ и „Рос-

сию". Так и начинается постепенная европеизация России, упрочение буржуазного порядка в молодой стране. Стихийный процесс накопления получает определенную окраску и определенное воздействие в эпоху выявления сил торгового капитала.

Капитализм охватывает теперь Россию с разных сторон, но, по сути, его первичное гнездо—торговля. Между тем прибавочную ценность дает не только торговля. Рост капиталистических отношений нащупывает прежде всего прочную почву там, где имеется труд, труд сторонний, наемный. Как известно, исконным основным занятием русского народа всегда было земледелие. Оно же лежало в основе древне-русского хозяйства. Но в Киевской Руси роль сельскохозяйственного промысла затемнялась ростом торговых оборотов и интересами нараставшего капитализма. Не то в Руси Северо-Восточной, географическое положение которой было вне узловых центров мирового рынка, как Киев.

Прекращение связи с мировым рынком, переход на землю худшего качества, большая бедность общих условий—все это не давало возможности населению подняться на более высокую ступень развития, чем первобытный натурально-хозяйственный уклад; поэтому сильные люди, захватывая большие земельные пространства и пользуясь человеческим трудом, скоро становятся центрами бледной и вялой экономической жизни. У них кредитовались, им должали, им, в итоге, и подчинялись. Заем бедняка, в конце концов, приводил к рабскому состоянию. Вообще рабство входило необходимою составною частью в древне русское народное хозяйство как киевского, так и следующего периода, служа источником накопления.

Оба периода отличались горячею погонею за основным видом капитала—за рабами. Это было „серебро" той эпохи. Ради этого серебра и его приобретения громили не только крестьянские дворы, но и боярские и княжеские имения. В последних челядь, как обученная, была значительно ценнее. Так, ремесленник с боярского двора ценился раза в два дороже простого рядового раба. И, действительно, заниматься крупным земледельческим хозяйством в такое время было делом не легким, но прибыльным.

Итак, яркая и грандиозная рабовладельческая культура служила первою ступенью нашего „первоначального накопления“. Крупные собственники-рабовладельцы все более обогащались, подрывая благосостояние широких слоев трудового сельского населения.

Так складывалось прочное основание для крупного землевладения, нуждающегося, как и всякое крупное хозяйство, в дешевом массовом труде. Здесь, разумеется, легко стирались грани между холопами и разорившимися обедневшими крестьянами. Холоп и смерд (крестьянин) смешиваются в одной нищей и бесправной группе. Правда, официально крепостное право датируется с XVI века, но крестьянская задолженность, приводившая к неволе, хорошо известна еще с XII века. После „Русской Правды“ о заемщике инвентаря вспоминает Псковская Судная Грамота, где упоминаются и „закупень“ и „изорник“ (в Сербии вознаграждение зерном за ссуду волов также называется изором).

Но если торговля вообще, а работорговля в частности, были в Киевской Руси выгоднее сельского хозяйства, то в Северо-Восточной Руси перевес перешел на сторону занятия земледелием. Во-первых, крупное землевладение теперь уже получает твердую почву под ногами, во-вторых—общие экономические условия страны делают выгодным только добывающую промышленность. С развитием боярского землевладения отдельные хозяйства собственников легко становятся самодовлеющим целым. Обособляется обычное „ойкосное“,—как его назвал Родбертус,—хозяйство, являвшееся на первых ступенях экономического развития той ячейкой, той автаркией, которая типична для всех стран.

Эта хозяйственная форма создает свою особую идеологию—идеологию мелких изолированных самодовлеющих хозяйств—„домостроев“.

Здесь мы у колыбели особого типа капитализма—капитализма аграрного. Зародившись рано, он получит выражение и развернется более широко много позднее—с момента когда добьется прилива к себе золота. Но этот прилив станет возможен,—за бедностью отечества,—только с момента развития экспортной торговли,—иначе, со времени вывоза из России сырья, т.-е. с XVIII века.

2. „Домострой“ попа Сильвестра.

Положительное отношение к капиталу со стороны власть имущих и влиятельных слоев вообще, начавшееся еще в Киевской Руси, продолжалось и в Московской Руси. Здесь первоначальное предрасположение к активности торгового капитала скоро превращается в апологию большой домашней экономии, т.-е. в апологию боярского быта, в восхваление боярской вотчины. Зажиточные классы Московской Руси откровенно проповедуют постепенное накопление и обогащение. Оно ярко вылилось в ряде характерных памятников. Впереди других—ценный памятник XVI века, знаменитый „Домострой“, сочинение московского протопопа Сильвестра Медведева. В этом характерном произведении, как в зеркале, вполне отразились мировоззрение XVI века и та типичная классовая идеология боярства, которая выражала интересы и стремления важнейшего класса Московской Руси, класса крупных землевладельцев. „Домострой“ Сильвестра неоднократно служил предметом изучения. Название книги и имя ее автора хорошо известны каждому школьнику, а крылатые выражения его варварской и узко-эгоистичной патриархальности до сих пор у многих на устах. Поэтому очень важно определить экономическое содержание „Домостроя“ и выделить политико-экономические воззрения его составителя, окутавшего свои классовые вожделения в шелуху христианской морали [1]).

Экономическая политика „Домостроя“ не сложна. Мелочные подробности, касающиеся домашнего обихода, затрагивают всю обыденную жизнь богатого домоводства. Тут правила „благорассудливого и порядливого жития“ членов семьи и прислуги, указания на порядок подавания кушаний и сохранения посуды и платья, запасов и проч. Главнейшие принципы—экономия, запасливость и бережливость. Расходы

---

[1]) Именно от нее приходит в умиление первый исследователь „Домостроя“. проф. В. Н. Лешков. в своей работе: „Древняя русская наука о народном богатстве и благосостоянии“ (Москва, 1855). Лешков, проходя мимо тяжелой классовой идеологии „Домостроя“, восхищается обычною церковною декламацией о высоте „Правильного жития“, которую он считает „истинно-христианскою философиею“.

должны сообразоваться со средствами, „всякому человеку, богату и убогу, рассудити себя и сметити“. Без этого—„великое бесчестие“, „укоризна“ и „поношение“.

Главное заведывание домом лежит на хозяйке, заботливой и неустанной руководительнице дома.

В „Домострой“ включена особая, последняя глава, называемая Малым Домостроем, заключающая наставление Сильвестра своему сыну Анфиму. Это, повидимому, единственная подлинная часть сочинения самого попа Сильвестра, остальное же—компиляция, составленная для богатого новгородского дома XV или XVI веков. По своему характеру „Домострой“ ближе всего подходит к средневековому французскому „домострою“ — „Наставление французского буржуа сыну“. „Домострой“—памятник замкнутого домашнего хозяйства. Он вообще не знает народного хозяйства, как целого. Материальный быт подданных составлял тогда еще одну из ветвей личного хозяйства властителя, который, по примеру всех средневековых князей, рассматривает страну, как свое личное имение. Поэтому „Домострой“ мог представлять собой только свод правил домашней экономии, принципы которой, как принципы частного хозяйства, антагонистичны общественно-хозяйственным интересам. Вместе с тем „Домострой“ дает нам картину большого замкнутого и самодовлеющего полуфеодального хозяйства, в котором уже в значительной мере развиты потребности. Каким было в эту эпоху мелкое крестьянское хозяйство,—из этого памятника не видно. „Домострой“ вообще не знает крестьянства; правила его не пригодны для деревенского хозяйства, а лишь для домоводства „избранных“, для крупного землевладельца. Только князь да большой боярин, имеющий чревоугодливое настроение будущего крепостника, „отец“ больших владений и множества домочадцев, мог почерпать мудрость из поучения московского протопопа. „Домострой“—типичное выражение классовой идеологии русского средневекового землевладельца. Сам протопоп был значительный торговый человек, чего нельзя забывать при разборе сборника „Домострой“ или при чтении его „Послания и наказания от отца к сыну“. Впрочем, Сильвестр Медведев был не

только торговец, коммерсант. Под его рясою билось также энергичное предпринимательское сердце. Он строил, создавал, промышлял, скупал и перепродавал в самых широких для того времени размерах и на родине и за границей. Он „книгопродательствовал“ при помощи ряда наемных „книжных писцов“, фабриковал иконы и церковную утварь, строил дома и церкви. При этом Сильвестру зачастую принадлежали только инициатива и средства. Получив от него ссуду деньгами, ремесленники возвращали ему свои готовые изделия, которые он не без выгоды отправлял на рынок внутренний и иностранный. Этот протопоп не был просто удачливым скупщиком, он был просвещенным вдохновителем новой формы: дети его крепостных обучались им ремеслу и торговле.

До нас дошли сведения, что и эта отрасль дела была успешной. Питомцы протопопа по окончании выучки шли в торгово-промышленную деятельность, иногда принимавшую солидные размеры. „Многие из его учеников гостьбу делают в различных землях, всякими торговлями“—писали о нем. Все это, конечно, давало недюжинный опыт, расширяло его кругозор и позволяло приходить к определенным теоретическим выводам.

По своему содержанию и по характеру изложения „Домострой“—простая сводка практических рецептов и не лишенных лукавства советов, проникнутых духом мелочного скопидомства и тревожной подозрительности, которые доверительно излагает близким людям в минуту откровенности ловкий эксплоататор, представитель эпохи первоначального накопления. Это одна из разновидностей той „разумной и трезвой“ экономии, которою во все времена гордились всесветное мещанство и капиталистический мир. За рецептами лукулловских постных блюд и за перечислением средств сохранения столь обильных запасов, что им могли бы позавидовать наиболее прожорливые гоголевские персонажи, следуют варварские правила обращения с домочадцами и слугами и ряд плутовских советов для производства выгодной покупки и прибыльной продажи. Особенно антипатична современному социальному чувству последняя, 64-я по счету, глава „Домостроя“, содержащая „послание и

наказание отца (т.-е. самого попа Сильвестра) к его сыну Анфиму". Эта глава дает целостное впечатление, тогда как остальная часть „Домостроя" представляет собою механическую смесь всевозможных отрывков из пестрой книжной сокровищницы древней Руси. Чего тут только нет! И начало „Стоглава" Геннадия, патриарха Константинопольского, и отрывки из „Измарагда" Златоуста, и курьезные фрагменты из сборника „Златая цепь", и знаменитый в древности „Пролог", и любимое тогдашним духовенством „Поучение Серапиона Владимирского"...

Кроме всего этого, что было заимствовано „без ссылок на источники", попадаются краткие выписки из „Номоканона", из „Сборника Постановлений" и т. п. с прямым указанием на источники. Из этого ясно, что работа Сильвестра—скорее редакторская работа сводки; однако, чем больше историческая и филологическая критика развенчивала Сильвестра, как оригинального автора, тем ценнее становился этот памятник, как зеркало коллективной мысли тогдашней эпохи.

Чисто-хозяйственные вопросы занимают в „Домострое" 23 главы третьей части—„о строении домовом", что составляет около одной трети всей книги. Характерно, что по экономике ни в одной главе нет никакой общественной мысли, а имеются только вульгарные наставления узкой прописной морали. „Торгуй полюбовно, а деньги плати вдруг"—говорит „Домострой",—„хотя и не надобе, а дешево купи", „запасено слишком, а на том деньги будут с прибылью",—таковы главнейшие морально-хозяйственные тезисы „Домостроя". Не спасают убогости содержания и вкрапленные в некоторых местах филантропические замечания в лицемерно-елейном стиле, например: „смирена бог любит, а покорному бог благодать дает", или „ныне домочадцы наши все свободны, живут у нас по своей воле" и пр.

„Домострой" не стар: древнейший список его первой части, по данным палеографии, относится к первой половине XVI века, и только вторая написана, быть-может, столетием раньше. На то же указывают его тенденции: „Домострой" верен своей эпохе—он бюрократичен и буржуазен.

Его первая половина составлена, как то видно из указаний специалиста-исследователя, в начале XVI или в конце XV века и притом ярым сторонником усиления царской власти Московского государства; вторая писана не позже XV века богатым новгородцем, променявшим тревожную вольность вечевика на сытое спокойствие царского холопа. Судя по значительному числу списков, московская знать зачитывалась „Домостроем", но в петербургскую эпоху он был уже совершенно забыт. Вновь этот памятник стал известен со времени его первого напечатания, т.-е. с 1840-х годов, после чего „Домострой" несколько раз переиздавался.

Его экономическую характеристику впервые сделал профессор московского университета Лешков[1]). Богатство и благосостояние, по „Домострою", результат „праведного жития и справедливой деятельности", а соразмерение дохода с расходом—основа всякого „праведного" домоводства.

С нашей точки зрения „Домострой"—собрание практических советов по управлению большим древне-русским ойкосом, где уже налицо и заботы о торговой прибыли.

Здесь изложена примитивная теория организации частнохозяйственного потребления и руководящие начала для первых шагов меркантилизма. Все это проникнуто своеобразною, заслуживающею внимания социально-политическою теорией тогдашней Московии, создающей в „Домострое" особое настроение. Попытаемся дать общую характеристику этого настроения.

Узость общественного кругозора и интеллектуальная приниженность допетровской Руси вполне отразились во взглядах на народное хозяйство и благосостояние, содержащихся в „Домострое", во всем его направлении и сентенциях. Он—типичный образчик московского самодержавия и всех тенденций допетровской Руси, принципиально чуждавшихся стремлений к политической свободе и всякой гражданственности. „Образ воспитания,—как говорит Флетчер[2]),—чуждый всякого

---

[1]) Лешков, А. проф.: Очерк древней русской науки о народном богатстве и благосостоянии. Статья в юбилейном сборнике московского университета „в воспоминание 12 января 1855 г.".

[2]) Флетчер: О государстве Русском. Спб., изд. Суворина, 1905 г., гл. XXXVI.

основательного образования и гражданственности и признаваемый властями самым лучшим для государства и вполне согласным с образом правления", наложил на все свою неизгладимую печать, усиливая вместе с тем и контраст с Западом. И действительно, в ту эпоху, когда смелая мысль европейца уже формулировала высокий социальный идеал, в то время, когда на Западе становились ходячими многие из боевых девизов и тезисов современности, наши „лучшие люди" благоговейно твердили сомнительные положения убогой и лицемерной мудрости раболепствующих подьячих.

Итак, с точки зрения современной оценки,—а она для того времени во многом допустима,—гордость века, знаменитый „Домострой"—удивительная смесь наивного и невежественного варварства с коварным смирением и самоуверенностью. Читая этот памятник, не знаешь, чему больше удивляться: дикой ли грубости наших предков или печальной скудости их общественной мысли. Жестокость и приниженность даже у домашнего очага. И никакого противовеса, ничего, что могло бы оправдать этот беспросветный эгоизм, это животное себялюбие.

Участь русского человека того времени несравненно печальнее, чем участь раба античного Рима или франконского виллана в самую темную эпоху средневекового варварства: у тех был хоть свой Спартак, хоть свой Флориан Гейер. Гневное возмездие, кровь и огонь подымали по временам человеческое достоинство угнетенных. И в мире идей всегда создавался серьезный противовес мещанской пошлости и злорадному филистерству. Так, рядом с древне-греческим вариантом „Домостроя" и с „Экономикою" Ксенофонта, свободолюбивая мысль грека создала суровую „Политику" Аристотеля и вдохновенную „Утопию" Платона. Так, рядом со скопидомными поучениями европейского Сильвестра—„Заточника в Бари" [1]) и одновременно с плоскими выходками итальянского „Домостроя" Пандольфини [2]), средневе-

[1]) Сочинение Заточника в Бари относится к XIII в. и озаглавлено: „Dottrina o proverbi dello Schiavo di Bari".

[2]) Анноло Пандольфини (XV век) принадлежит „Рассуждение об управлении семьею" (Trattato del governo della famiglia"). Из остальных западно-европейских домостроев выделяются: французский домострой—„Парижский хозяин" (Menagier de Paris), составленный в XV в. Де-Латур-Ландри, немецкий—„Vridenkes Bescheidenheit"—XVI век; чешские—Фомы Щитного, Смила Флашки и Шимона Ломницкого и некоторые другие.

ковый европеец грезил о Новом Сионе анабаптистов, верил в „Вечное Евангелие“, зачитывался Томасом Мором и Кампанеллою, боролся в рядах Гусса, шел на костер с Савонароллою и Джордано Бруно. А нашему „Домострою“ нечего противопоставить. Поэтому „Домострой“ и царствовал безгранично. Но в нем уже были и новые ноты: он полон стремления к новой торгово-промышленной деятельности, к торговому барышу, к наживе от торгово-промышленной инициативы. В этом стремлении Сильвестр не считается со старыми устоями. Табачное зелье вызывало гром и молнии Московской Руси. Сильвестр предлагает устроить „табачные заводы“ для экспорта табачных изделий заграницу, что дало бы, по его мнению, „миллионную прибыль“, так как производство табака в тридцать раз дешевле продажной цены за границей.

Сильвестр все же боится новых форм. Кредит его пугает, и он усматривает в нем только опасную западню. Он крайне доволен тем, что никогда не подписывал векселя („не давал на себя кабалы“).

Итак, „Домострой“—памятник переходной эпохи. Его, конечно, нельзя назвать „памятником экономической идеологии городского ремесленного хозяйства“, как то неправильно делает профессор М. Н. Покровский [1]); это сочинение излагает идеологию руководителя большого натурального хозяйства, из замкнутого, ойкосного превращающегося в торгово-промышленное, что представляло собою первую арену для накопления торгового капитала. Сильвестр—прямой предшественник будущих русских меркантилистов, он идеолог сельского крупного землевладения, уже тяготеющего к рынку, где реализуются его „избытки“. Первоначальное накопление, с которого начинается развитие первых этапов торгового капитала, с этого времени внедряется в толщу и ход русской жизни.

Литература.

„Домострой“ был издан **Сахаровым** в 1849 году во II томе его „Сказаний русского народа“ и в том же году **Д. Голохвастовым** („Домострой попа Сильвестра“) во „Временнике Императорского Общества Истории и Древностей Российских“.

---

[1]) Покровский, М. Н.: Очерки истории русской культуры, часть I. Москва, 1915 г., стр. 110

Издания текста:

„**Домострой**“, изд. Имп. О-ва Истории и Древностей Российск., 1881 г.

Изд. **В. Я. Яковлева**, Москва, 1887 г.

А. Н. Чудинова в его „Русской классной библиотеке“, Спб., 1891 г.

А. С. Орлова, 1917 г. (лучшее).

Полное заглавие „Домостроя“ по некоторым спискам следующее: „Книга, глаголемая Домострой, имать в себе вещи, зѣло полезны ко ученіе и наказаніе всякому христіанину, мужу и женѣ, чадом и рабом и рабыням“.

Специально о „Домострое“ писали:

Некрасов, И. С. Опыт историко-литературного исследования о происхождении древне-русского Домостроя. Издание Об-ва Истории и Древностей Российских. Москва, 1873 г. Некрасов полагает, что, кроме двух указанных частей, третью часть „Домостроя“ составляет более древнее его ядро „Продомострой“, по его терминологии. Автор высказывает также предположение, что Сильвестру, быть-может, принадлежит компиляция, приспособление этого новгородского памятника к московским условиям.

А. В. Михайлов. К вопросу о редакциях Домостроя, его составе и происхождении. „Журнал М. Н. Пр.“ за 1889 г. №№ 2 и 3. Полемика с Некрасовым, отвечавшим Михайлову в том же году; здесь же помещено и второе возражение А. В. Михайлова.

А. А. Кизеветтер. Политические тенденции древне-русского Домостроя, в „Исторических Очерках“, Москва, 1912 г.

А. С. Орлов. „Домострой“, ч. I. Исследование, Москва, 1917 г.

ГЛАВА III.

УПРОЧЕНИЕ МЕРКАНТИЛИЗМА.

1. Рост монархизма и борьба классов за монархию.

Зарождение монархизма (самодержавия) в России относится к самому концу удельного периода, ко времени первых признаков появления денежного хозяйства, явившегося на смену старому феодальному порядку. Последний покоился на натурально-хозяйственной базе. Ему не нужно было ни движимых материальных сил, ни сильной центральной власти. Поэтому с появления нового денежного уклада, в конце XV и первой половине XVI столетий, складывается тот „зача-

точный период развития самодержавной власти русских государей“ [1]), который развернулся только в конце XVII века. Самодержавие опиралось на многочисленный дворянский, преимущественно провинциальный слой, питавшийся соками центральной власти, и боролось с менее численным, но богатым аристократическим боярством, с русскими феодалами, считавшими себя, по старине, представителями власти и влияния. Борьба этих двух социальных групп захватила всю тогдашнюю общественную жизнь и проникла в религиозные воззрения и отношения. Так на экономической основе сложились в России две боровшихся партии „старины“ и „новизны“, „заволжских старцев“ и „иосифлян“. В итоге вопросы социально-экономической борьбы в России того времени расширились и осложнились.

С XV века, под влиянием Запада, появились первые ереси: в начале ересь стригольников (XIV век), а затем ересь жидовствующих. Схема мыслей последних была вполне на руку растущему московскому самодержавию. Оно боролось против феодализма вообще и против церковного феодализма в частности; жидовствующие и самодержавие являлись естественными союзниками.

В суждении о жидовствующих, да и вообще в судьбах устройства России приняли участие две боровшихся партии: заволжских старцев (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и др.), стоявшие за феодальные аристократические порядки, и ортодоксальная официальная группа иосифлян. Первая группа, как феодальная, стояла за ограничение верховной власти и естественно не поддерживала самодержавия, вторая была ближе московским идеалам и склонялась в сторону централизма. Жидовствующие, таким образом, содействовали самодержавию так же, как и заволжские старцы. Политическая теория последних изложена в „Беседе валаамских чудотворцев Сергия и Германа“, составленной в середине XVI века. Здесь ясно и определенно выразилась тенденция знатного боярства к ограничению власти государя через посредство Боярской Думы.

Иосифляне были первые приверженцы самодержавия, которое они вместе с духовенством вели от идеи богоустано-

[1]) Рожков, Н.: Происхождение самодержавия в России. М 1906, стр 185.

вленности власти и чистоты церковных идеалов Византии. Они полагали, что Константинополь пал вследствие отступления от православия царя и патриарха во Флорентийской унии и что истинное древнее благочестие сохранилось только в московском царстве. Относительно последнего создался ряд мистических легенд о судьбах Царьграда. В числе пророчеств было сказание о победе „рода русых“,—что переделано было нашими книжниками в „род русских“,—над всем родом Измаила и овладении им „седмихолмным“ градом. В 1492 году Иван Третий был уже назван „новым царем“ Константином, а Москва („семихолмная“)—„Новым Царьградом“.

Эта легенда изукрашивалась подробностями византийского сказания о вавилонском царстве и „Истории властодержцев от Ноя“. Смысл их сводился к исторической преемственности Москвы от Константинополя в деле охраны православия и к богоизбранности московских государей. Правительство последних поддерживало и проводило ту же идею в особом памфлете: „Слово избрано от святых писаний еже на латыню“, составленном в 60-х годах XV века; в основу которого легло „Послание инока Саввы на жидов и на еретики“, прославляющее великого князя Василия, как боговенчанного хранителя „благочестия и благоверия“.

К этому же времени развивается идея государственности и теория Третьего Рима, положившая основание националистической идеи (панруссизм) и мессианству русского народа. „Жидовствующие“ внесли новые элементы в русскую общественность и, относились сочувственно к западным влияниям. Они были против католического папизма и усиления церковной власти. Жидовствующие осуждали, между прочим, церковную иерархию, с которой тогда начинал бороться и московский царь. Отсюда тайная симпатия Ивана III к жидовствующим. Он первый из правителей России задумывался уже над противоречием между властью светской и духовной.

В самом конце XV века (в 1492 году) закончилось „седьмое тысячелетие“ (от „сотворения мира“). Поэтому склонное к хилиазму русское общество переживало это время тревожно: приближался-де конец мира. И вот в такие-то

дни некий еврей Схария смело отвергал основные догматы православия: учение о святой троице, о воплощении Иисуса и двух его естествах, не признавал поклонения иконам и мощам и горячо нападал на монашество. В своих объяснениях Схария держался рационалистического толкования, неслыханного, но желанного новшества. В итоге Схария имел успех. Его поддерживали влиятельнейшие лица: невестка Ивана III княгиня Елена, митрополит Зосима, думный дьяк Курицын.

Официальная церковь всполошилась. Требовали решительных мер, но по вопросу о преследовании жидовствующих разделились на две партии: с одной стороны, епископ Новгородский Геннадий и Иосиф, игумен Волоцкий, с другой—преподобный Нил Сорский и его ученики, так называемые „заволжские старцы". Геннадий боролся за распространение образования, требовал казни еретиков, сам сжег их берестовые шлемы, одетые на потеху. Иосиф Волоцкий тоже стоял за казнь. Он ссылается на короля Фердинанда Католика и на страшное орудие католической ортодоксии—аутодафе. Совсем иначе смотрел Нил Сорский и его ученик, князь-инок Вассиан Патрикеев, отстаивавшие свободу совести и нападавшие на монашество, владевшее громадными имениями и челядью. Последний вопрос, кстати сказать, волновал умы целое столетие. Между тем заволжские старцы—наша реформация в миниатюре—смело возвысили голос, и он был широко слышен. Хотя ересь жидовствующих была все же ликвидирована, симпатии к Западу остались.

В следующем веке это выразилось в резкой борьбе новизны со стариной, нашедшей себе выразительную иллюстрацию в конфликте между царем Иваном Грозным и князем Курбским. Известно литературное отражение этого конфликта в их переписке. Все симпатии на стороне опального боярина, а не на стороне нивеллировщика-царя. Курбский не сложил своего человеческого достоинства к ногам царя. Его консерватизм симпатичнее коварства Ивана IV, но последний в исторической перспективе все же по сути реформатор, а Курбский — консервативный феодал. Потребовался еще ряд поколений, чтобы новые веяния отчетливо выяснились. При Годунове молодежь только начинает проникаться новыми

западными веяниями. Здесь особенно выделяются двое: кн. Ив. Хворостин и Воин Ордын-Нащокин, они наши первые решительные западники.

Европейское влияние начинает закрадываться и в область правящих кругов. Его не чужды некоторые видные бояре той эпохи, как Ртищев, Морозов, Афанасий Ордын-Нащокин, отчасти и сам царь Алексей Михайлович. Ими открывается галлерея русских меркантилистов. В ней мы видим последовательно: 1) Афанасия Лаврентьевича Ордына-Нащокина, 2) Юрия Крижанича, 3) Ивана Тихоновича Посошкова.

Меркантилизм вырастает из перехода изолированного городского хозяйства в национальное. Он дает почву для новой государственной, по условиям времени национальной — государственной идеи. Последняя нарастает еще в великокняжеский период, когда впервые формулируется, как идея о третьем Риме.

2. Теория Третьего Рима и националистическая реакция: зарождение меркантилизма.

Как уже было сказано, „Домострой“ устанавливал только идеологию отдельного изолированного феодально-боярского хозяйства, но еще не возвышался до понимания общенациональных и общегосударственных задач. По мере роста и усиления московского государства, новые, уже национальные задачи выдвигаются также, тем более, что по сути они представляли собою только расширение пределов хозяйственной единицы: от вотчины боярина до вотчины великокняжеской, царской, в которой принципы управления и психология осознания были одинаковы. Великий князь московский, а затем и царь всея Руси рассматривал себя, как личного владельца своей земли, своей вотчины. Появляется и укрепляется идея центральной исторической власти и исторической миссии, занесенная византийцами, прибывшими с царевною Палеолог, ставшей женою царя Иоанна III. Нарождавшаяся монархия стремилась победить своих феодальных соперников, укрепиться на зажиточной массе, прообразе

европейской буржуазии, и создать свою экономическую и политическую идеологию.

Это отразилось в анонимных сказаниях XV века: „О царстве Вавилонском“ и „О белом клобуке“, куда был вложен глубокий для тогдашнего времени историко-философский смысл. Здесь не только осознавалась государственность, но российская государственность возвеличивалась, идеализировалась и доводилась до степени мировой исторической величины, имеющей свои высшие задачи.

Последняя явилась в результате падения в конце XV века Константинополя, некогда мирового центра и, вместе с тем, главного очага восточной церкви. С переходом в Москву религиозного центра естественно возникала мысль о преемственности политической, а следовательно и о наследовании Москвой от Византии мирового господства.

Эта мысль легла в основу целого ряда новых идей историко-философского иритом ультра-националистического характера, а получила литературное выражение в посланиях монаха старца Филофея, изложившего целую историко-философскую теорию о Москве, как о „Третьем Риме“.

Старец Филофей—крупная историческая личность, выступившая в русской истории в самом начале XVI века. Старец Филофей был отшельником-монахом псковского Елеазарова монастыря, развивавшим в определенной и уверенной форме,—что не могло не оказать сильного психического воздействия,—идею панруссизма и богоизбранничества России. Эти воззрения изложены в трех его посланиях,—вообще же он писал много и охотно,—адресованных к великому князю московскому Василию Ивановичу, к важному псковскому дьяку Мисюре-Мунехину и к московскому царю Иоанну IV (Грозному). Названные послания, в настоящее время опубликованные [1]), были написаны старцем Филофеем с целью заступиться за своих земляков-псковичей, утративших в 1510 году свою политическую самостоятельность. Былой вольный и торговый город, имевший, как и Новго-

[1]) Они воспроизведены в большой монографии В. Малинина: „Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания“, Киев, 1901. Некоторые сведения приведены также у Иконникова: Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории, стр. 364 и след.

род, независимую республиканскую физиономию, теперь угнетали московские наместники, централисты-бюрократы. Послание Филофея к дьяку Мисюре-Мунехину имело, между прочим, целью высказаться против „еретиков“—астрологов или „звездочетцев“, и против латинян вообще, а также заступиться за православие, которого Филофей считал себя верным хранителем.

Филофей полагает, что судьбы и людей и народов определяются и направляются промыслом божиим, источником мировой правды на земле. Согласно промыслу божию и по предуказаниям пророчеств (Даниила и др.) пал старый Рим, великий центр первой мировой империи. Рим впал в ересь Аполлинария и служил литургию на опресноках, т.-е. изменил ортодоксальной церкви. „Второй Рим“, Византия или Константинополь, тоже не удержал заветов религии: он изменил православию на 8-ом Соборе и заключил унию с латинянами. В результате и Второй Рим пал и „сделался достоянием внуков Агари“. Остается невредимою только славная соборная церковь Успения божьей матери в Москве, богоспасаемого града „всей новой и великой Руси“. Это и есть Третий и последний Рим, „третье и неразрушимое царство Рамейское“. Третий Рим—русская святыня, сияющая во всей вселенной своим благочестием, более ярким, чем солнце. Третий Рим есть последний центр в историческом бытии человечества. Четвертому Риму не бывать. В последовательном ходе исторической жизни народов все православные христианские царства пали и слились в одно царство русское, последнее мировое царство, за которым по кончине мира и наступит вечное царство Христа.

Так впервые была формулирована идея мирового призвания России, предуказания промыслом божиим будущего русской церкви и русского государства. Эта идея мирового величия русского царства выражена в следующих словах: „Во всей поднебесной—единый христианский царь и браздодержатель и божиих святых. Единая святая вселенская апостольская церковь вместо римской и константинопольской находится в богоспасенном граде Москве“.

Эта формула получила весьма широкое распространение. Москва называется Третьим Римом во всех важнейших то-

гдашних актах: и в грамоте об учреждении в России патриаршества, и в послании первого московского патриарха Иова к грузинскому царю Александру, и в ряде других. Идея Третьего Рима уже создает определенное направление и намечает определенную программу, даже более—она обязывает.

Старец Филофей в своем послании, адресованном великому князю московскому Василию Ивановичу, указывает на всемирный характер его власти. „Да весть твоя держава, благочестивый царю, яко вся царства православные христианские веры снидошася в твое едино царство, один ты во всей поднебесной христианом царь".

Но эта чрезвычайная миссия московского царя должна протекать в условиях суровой нравственности. „Подобает тебе, царю,—говорит далее Филофей,—сие держати со страхом божиим. Убойся бога, давшего ти сия: не уповай на злато, на богатство, на славу; вся сия здесь собрана и земли здесь останутся".

Москва, по мысли Филофея,—последняя в истории человечества мировая монархия. С этою идеею, даже, вернее, с этою теориею в Москве очень носились. Она была важна, как яркий симптом осознания государственности, как первый росток национального чувства.

3. Первый теоретик бюрократического монархизма Иван Пересветов, идеолог поместного дворянства.

О Пересветове существует предположение, что он мифическая собирательная личность [1]), но если он реально существовал, то это был выходец из Литвы, много путешествовавший и писавший. Во всяком случае то, что называлось „Иванец Семенов сын Пересветов"—это типичный выразитель идей и интересов дворянства, т.-е. экономически мелкого и среднего землевладения. Последнее тесно связано с самодержавием, которое в ту эпоху покоится на служилом дворянстве и естественно борется с своими полити-

[1]) См. Покровский, М Н.: Очерки по истории русской культуры. Ч 2, 1918, стр. 151 и след.

ческими ограничителями, т.-е. с боярами. Отсюда пламенная ненависть идеолога дворянства Пересветова к боярству.

Свои идеи Пересветов излагает в ряде сочинений, из которых особенно ценно: „Сказания о царе Константине". Здесь автор восхваляет Восток и видит поучительный образец политической мудрости на Востоке. Его герой—турецкий султан.

Бояре или вельможи, по Пересветову, всегда „сидели яко змии" и держались на многочисленном холопстве. Если, по мнению Пересветова, освободить кабальных, то тем самым можно ослабить и самих бояр.

Итак, боязнь усиления бояр приводит Пересветова к мысли об освобождении кабальных. Впрочем, он вообще противник рабства, считая, что „человек может быть рабом только богу". При свободе, по его мнению, проявляется личное мужество, качество столь необходимое „для защиты государства".

В эпоху Пересветова хозяйственный кризис разорял бояр, и на Руси шла естественная борьба за рабочие руки. Вельможам, между тем, платили землею, а не жалованьем. А назревший последовательный бюрократический централизм требовал уплаты за труд жалованьем, а не землею. Этим жалованьем должны были возмещать заслуги, а не происхождение.

Всему этому боярство не соответствовало. „Вельмож,— говорит Пересветов,—много, но пользы мало". Таких, по мнению его, подобает „огнем жещи и иные лютые смерти давати, чтобы зла не множилось".

Наш проповедник монархии, поддерживаемый мелким дворянством, не оставил после себя продуманной и законченной теории абсолютизма, которую мы видим у Жана Бодэна. Он невыгодно отличается от своего европейского собрата, который понимает, что самодержавие может стать источником порабощения и принижения страны, и знает пределы самодержавной власти. Его монарх повинуется „законам природы", обеспечивающим его подданным „естественную свободу". Такая система, думает он, есть королевская монархия. Отсутствие же у подданных свободы распоряжения своею личностью и имуществом — это другая

система устройства восточной монархии, имеющаяся в древней Персии и Московии. Наиболее низкую и отрицательную форму мы имеем в третьей системе, системе тираническої монархии. Здесь просто попираются все законы.

Помощником монарха в деле управления страною является религия, но она часто расходится с правдою, а правда — поясняет Пересветов—„выше веры".

Такова идеология московского публициста, не ведающего, что на Западе ядро его идей развивается в теорию ограничения самодержавной власти.

Новые условия в экономической жизни Московской Руси вызвали, как бывает всегда и повсюду, двоякое отношение: одна часть населения приветствовала новшества, ведшие к сближению с новизною и, в конечном итоге, с Западом; другие порицали новое и стремились к удержанию старой жизни, к возврату к ней, словом, к старым формам. Рационалистические секты—ересь стригольников и ересь жидовствующих, а позднее идейная позиция „заволжских старцев" несомненно носят характер раннего западничества. Во главе группы „заволжских старцев" стоит инок Вассиан Косой (князь Василий Иванович) Патрикеев, ученик Нила Сорского и единомышленник просвещенного Максима Грека. Он стоял за секуляризацию монастырского имущества и требовал гуманного отношения к инакомыслящим. За исправление книг он был осужден в 1531 году и сослан в монастырь. Иную позицию держит более многочисленный консервативный лагерь, так называемые „иосифляне" во главе с митрополитом Даниилом и Иосифом Волоцким, к которым идеологически примыкает и „Домострой" попа Сильвестра. Подробности этого раскола немногочисленных просвещенных сил тогдашней России указывают на ряд чисто-социально-экономических мотивов, игравших уже роль в тогдашней жизни России.

О расхождении „иосифлян" и „заволжских старцев" можно прочесть в следующих сочинениях:

Преображенский. Нравственное состояние русского общества в XVI веке, по сочинениям Максима Грека и современным ему памятникам. М. 1862.

Хрущов. Князь-инок Вассиан Патрикеев, в „Древн. и Нов. России“ за 1875 год, № 3.

Архангельский. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. Спб., 1882 г.

Боцяновский, В. Русские вольнодумцы XIV—XV вв., в журнале „Новое Слово“, 1896, № 12.

О Пересветове:

Ржига, В. И. С. Пересветов. Москва, 1908 г.

Яворский, О. К вопросу о Пересветове. Киев, 1904 г.

Плеханов. Г. В. Очерки развития русской общественности, т. 3.

Покровский, М. Н. Очерки русской культуры, часть II, стр. 151.

ГЛАВА IV.

ПЕРВЫЕ МЕРКАНТИЛИСТЫ.

1. Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин.

Перед нами проницательный, свободолюбивый и энергичный боярин, отрешающийся от национальной замкнутости и узкого шовинизма—этих ужасных язв Московской Руси. Ордын-Нащокин мыслит самостоятельно и определенно. Он первый на Руси провозглашает мудрое правило, что „*доброму не стыдно навыкать и со стороны чужих, даже у своих врагов*“, и это правило, будучи усвоено человеком государственным в истинном смысле этого слова, становится драгоценным орудием в деятельности мудрого боярина.

Ключевский справедливо называет Ордына-Нащокина *первым русским экономистом*, ибо Ордын-Нащокин действительно первый понял, что домашнее хозяйство властителя и народное хозяйство—не одно и то же, и что первое эксплоатировало массы и забывало о развитии производительных сил самой страны.

„Во всех окрестных государствах свободные и прибыльные торги считаются первыми государственными делами. Оберегают торги с великим бережением и в вольности держат для сбора пошлин и для всенародных пожитков мирских“,—писал Ордын-Нащокин в Новом Торговом Уставе в 1667 году

(„без купечества никакое не только великое, но и малое царство стоять не может", сказал позднее Посошков).

Ордын-Нащокин едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главнейших предметов государственного управления. Основным фактором развития народного хозяйства Нащокин считал самоуправление. Путем последнего он и сам пытался поднять производительные силы промышленных сословий старого Пскова, где с 1665 года он был воеводою.

Нащокин усматривал главные недостатки русской торговли в духовных свойствах самих торговцев. „Русские люди,—говорит он,—в торговле слабы друг перед другом", т.-е. не держат данного слова, не солидарны и не умеют противостоять иностранцам. И это не преувеличение. Флетчер свидетельствует нам об этом следующим образом: „Что касается до верности слова, то русские люди большею частью считают это ни по чем, как скоро могут что-нибудь выиграть обманом и нарушить данное обещание. Поистине можно сказать, как вполне известно тем, которые имели с ними более дела по торговле, что от большого до малого всякий русский не верит ничему, что говорит другой, но зато и сам не скажет ничего такого, на что бы можно было положиться. Эти свойства делают их презренными в глазах всех их соседей"[1]).

К тому же недостаток в деньгах и отсутствие организованного кредита, стеснение администрации и боязнь самозащиты ставило гражданственность на шаткое основание, а невежество и взаимное недоверие подрывали в корень всякое начинание. Попав во Псков воеводою, Нащокин издает особое положение о торговле с иноземцами, в котором пытается бороться с только-что указанными недостатками. С этой целью он устраивает целую систему патронажа сильных над слабыми. „Маломочные" торговцы распределяются „по свойству и знакомству" между крупными капиталистами, которые наблюдают

[1]) Флетчер: О государстве русском. Рус. пер., изд. А. С. Суворина. Спб. 1905 г, стр. 128.

за их промыслами. Земская изба выдает им из городских сумм ссуды для покупки русских вывозных товаров. Для торговли с иноземцами учреждаются под Псковом две двухнедельные ярмарки с беспошлинным торгом, начиная от 6-го января и от 9-го мая. На этих ярмарках мелкие торговцы на полученную ссуду при поддержке капиталистов, к которым приписаны, скупают ввозные товары, записывают их в земской избе и передают их своим принципалам; те уплачивают им покупную стоимость принятых товаров для новой закупки товаров к следующей ярмарке и делают им „наддачу“ к этой покупной цене „для прокормления“, а продав иноземцам доверенный товар по установленным большим ценам, выдают своим клиентам причитающуюся им „полную прибыль“. Такое устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней торговли в немногих крепких руках, которые были бы в состоянии держать на надлежащей высоте цены туземных товаров. Надо заметить, что вообще идея торговых товариществ была для того времени не нова. Во всей Западной Европе начиная с XVI века появляются купеческие союзы, а английское товарищество „Братство Св Бекета“ славилось далеко за пределами своей родины. Правда, эти союзы, равно как и возникшие у нас позднее „кумпанства“, преследовали иные цели, чем нащокинские патронаты, но и последние заслуживают известного внимания. Нащокин своими торговыми товариществами предполагал сблизить зажиточных торговцев, богатых буржуа города, с торгующей посадскою массою. Это создавало известную организацию, основанную не только на внешнем сближении, но и на выгоде: по плану Нащокина, патроны-капиталисты должны были доставлять хорошую прибыль своим клиентам, „маломощным компанейщикам“, а последние, в виде посильного реванша, не „портили цен“ остальным.

Товарищества, благодаря такту Ордына-Нащокина и его энергии, осуществились. Они были приурочены к городской управе, которая превратилась в своего рода ссудный банк для „маломочных“ и в контрольное учреждение для их патронов. Посадское общество г. Пскова, при зависимости от него пригородов, получило возможность

через свой судебно-административный орган руководить внешнею торговлей всего края. Но такой порядок, приятный „маломочным", был тягостен капиталистам. „Нащокин, как заводчик дела, попал,—говорит проф. Ключевский,—меж двух огней". Сохранилась челобитная, в которой маломочные посадские псковичи извещают царя, что его государев указ о новом положении они приняли как милость, дали на него приговор всем городом, „но нарочитые прожиточные люди", богачи, привыкшие ворочать городскими делами без мирского ведома, оказали ему противодействие, а от городского совета отстали, и даже первые их земские выборные, которые должны были вводить новое положение, его не одобряли, примыкая к „прожиточным".

Ордыну-Нащокину Россия обязана появлением в 1667 году торгового устава, пытавшегося сократить монополию иноземных торговцев и поднять самостоятельность русских. Мелочной торг иностранцев внутри России воспрещался, вводилась новая организация торгового суда и сбора пошлин. Это уже был явный переход к торговому протекционизму, который вводил во Франции современник Нащокина, знаменитый Кольбер.

Ордын-Нащокин не оставил после себя литературного наследства, и, к сожалению, нет возможности более точно установить его экономические воззрения. Можно думать, что этот государственный человек был довольно одинок и, по всей вероятности, мало понятен для своих современников.

То же можно сказать и о другом выдающемся деятеле московской эпохи—о Юрии Крижаниче, непосредственном предтече Петра Великого и Ивана Посошкова. Но мировоззрение Крижанича относится уже к другой эпохе, к меркантилизму, хотя о меркантилизме Крижанича необходимо говорить с оговорками.

2. Юрий Крижанич (1618—1683).

Юрий Крижанич—ученый хорват, попавший в Россию в конце 50-х годов XVII столетия (1659—1678), автор ряда значительных религиозных, исторических и политических сочинений. В них затронуты и освещены многие

основные экономические вопросы как теоретически, так и практически. Крижанич развивает идеи определенного порядка—он меркантилист.

Крижанич—недюжинная личность—обладал разносторонним, весьма солидным по тому времени образованием. В юности он учился в Загребской католической духовной семинарии, затем в Вене (1638), в Болонье (1639—40) и в Риме (1641), где изучал богословие и готовился быть миссионером. Позднее он ознакомился с политическими и историческими сочинениями как древности (Гомер, Полибий, Платон, Аристотель, Тит Ливий и пр.), так и нового времени (Макиавелли, Филипп Комин и пр.). О России он цитирует сочинения Герберштейна, Олеария, Павла Иовия. Крижанич—тонкий и образованный наблюдатель, бывалый, изучивший прошлое России. Он дает о России XVII столетия сведения более ценные, чем указания Котошихина, вдумываясь глубже в строй и хозяйство Московии его эпохи.

Поэтому суждения Крижанича о России—очень ценный исторический памятник. Крижанич полагает, что Россия его времени экономически стоит на краю пропасти, и что спасти ее могут только немедленные радикальные реформы. Инициатором реформы должна быть сильная монархическая власть. Крижанич стоит не только за абсолютизм, но и за решительную экономическую интервенцию. Реформа должна коснуться подъема народного образования, внутренней и внешней политики и разных сторон хозяйственной жизни. Крижанич сочетал два, на первый взгляд противоречивых элемента: он—верный сын римского престола, посланный в Московию с миссией религиозно-политического характера, соединить православие с католичеством, и в то же время Крижанич—несомненный славянский патриот, мечтающий о величии славянства.

Крижанич знает славянские земли, отсюда и родятся его симпатии к панславизму. Он побывал в Польше, в Галиции и Червонной Руси. Затем полтора года прожил в Малороссии, где вмешался в политику и стал на сторону малороссов („черкасов“ — по его выражению), тяготевших к Москве. Здесь он написал два сочинения, посвященных этому вопросу, затем поехал в Москву. 8-го января 1661 года, вскоре

по его приезде сюда, он по распоряжению „приказа лифляндских дел“ был послан на службу в Сибирь далекую, в Тобольск „быть там у государственных дел, у каких пристойно“. Это была почетная ссылка, быть-может, за резкие и независимые политические суждения, изложенные в его сочинениях, составленных в Малороссии, быть-может, по общим политическим соображениям недоверчивого и подозрительного московского правительства. В Сибири Крижанич составил ряд особенно ценных своих трудов, появившихся в печати только в XIX столетии. Из тобольской ссылки Крижанич выбрался лишь спустя 15 лет, а именно в 1678 году, т.-е. только после смерти царя Федора Алексеевича.

В следующем году он двинулся за границу в Рим. По пути он на четыре года задержался в Вильне, где стал доминиканским монахом, а затем прибыл в Вену, где в 1683 году умер во время осады австрийской столицы турками.

Известны следующие сочинения Юрия Крижанича:

Записки о миссии в Москву 1641 г. (по-итальянски), опубликованные впервые в 1896 г. в Париже, по-русски в 1906 году Пирлингом.

О церковном раздоре, по-латыни, Киев (?) 1656 г.

Путевые описания от Львова до Москвы (Putno opisanie). Киев (?) 1659 г. Здесь изложены причины нерасположения малороссов к Москве—результат влияния поляков и греков, и советы подчиниться московскому правительству.

Беседа с малороссами, или с „черкасами“ — по выражению Крижанича, 1660 г.

Обличение Соловецкой челобитной.

Политические Думы, основное сочинение Крижанича, составленное в период между 1660—1670 гг., впервые в печати в 1859 году.

О промысле Божием („De providentia Dei“).

История Сибири.

Русская грамматика („Граматично сказание об русском языку“).

Разговоры об владетельстве.

Толкование исторических пророчеств.

По своему политическому убеждению Крижанич—монархист, славянский патриот, полагающий, что во главе объединенного славянского мира должна стать Россия, но

что до истинного величия ей далеко из-за некультурности и невежества. Между тем русские преисполнены самомнения и носятся с идеею Третьего Рима. Юрий Крижанич, ученый заезжий хорват, совершенно отвергает эту теорию. Он считает ее измышлением патриарха Иеремии и нападает на него и на греков за лесть и обман. „Третий Рим" есть унижение для Москвы и может быть дано только для смеха (ridicule fabulati sunt). Византия никогда не была вторым Римом, а следовательно нет никакого третьего. Вообще „русское наше кралевство" не связано с Римом ни исторически ни политически, но и обратно,— „николи римляне на Руси никаковые области не имаху". „Несть нам приятков,—заключает Крижанич,—кий наше кралевство зовет третьим Римом", а „зовущий так предает страну проклятию и погибели". Имея много общего в воззрениях со старцем Филофеем, особенно в вопросе о провиденциализме [1]), Крижанич с ним расходится в оценке роли России. Не менее горячо высмеивает Крижанич другую модную московскую идею о самостоятельном происхождении московской царской власти. По этой теории русское царство древнее других христианских царств. Христианство Русь приняла непосредственно от апостолов, а московские цари—потомки Пруса, брата римского кесаря Августа. Это лестное родословие было любимою темой Иоанна Грозного, его мы видим и в „Записи", взятой с Василия Шуйского, и в грамоте об избрании на царство Михаила Романова.

В этих идеях Крижанич видит только „срамоту" и отсутствие правильного понимания „народной чести".

Вообще он в духе будущих славянофилов полагает, что русская история находится вне связи с ходом всемирной истории. Она возникла самостоятельно, самостоятельно и развивается.

Этой самобытности соответствует и свой государственный строй. У этого строя четыре „здравых основания":

1) православие,

2) самодержавие,

---

[1]) Сближение идей Крижанича с старцем Филофеем первый произвел Вальденберг: Государственные идеи Крижанича. 1912 г.

3) оберегание национальной самобытности,

4) отсутствие чрезмерно широкой гражданской свободы.

Такой строй России, по мнению Крижанича, наиболее совершенный. Изложенное приводит к необходимости более подробно остановиться на его основаниях.

Но Крижанич не смешивает самодержавия, которого он поклонник, с тиранией. Последнее—основное русское зло, отразившееся во всем, от управления до финансовой политики. Стремясь к преобразованиям, он требует и пишет проект „Великой Хартии Вольностей" и находит, что нужна охрана „слободин" (свобод).

Охрана самобытности тоже недостаточна: иностранцы допускаются без всякой необходимости. Ксенофобия (боязнь чужеземцев) у Крижанича сильна. Вообще же для дальнейшего существования России нужны преобразования. Крижанич намечает целый план последних, основанный как на своем, так и на чужом опыте. При этом нужно прислушиваться к тому, что о нас говорят соседи, но их мнения нужно принимать с разбором. Крижанич рекомендует средний путь между крайними ревнителями старины и безусловными сторонниками нововведений.

Ту же позицию обнаруживает Крижанич и в вопросах экономической политики, которой он уделяет много места и внимания и в которой он несколько расходится с западноевропейским меркантилизмом.

Неправильная финансовая и экономическая политика ведет, по его мнению, к малочисленности населения, а это, само по себе, бедствие. Крижанич в вопросах популяционистики стоит на точке зрения Ломоносова и Екатерины II, считавших, что государство для своего благоденствия должно заботиться о росте и охране народонаселения. Между тем Крижанич думает, что повальные болезни, войны и излишние стеснения свободы и самодеятельности также способствуют редкости русского населения. Иная „здоровая" экономическая политика и покровительство бракам могли бы легко поправить растущее зло.

Главнейшая очередная хозяйственная задача русского правительства — развитие производительных сил России, на первом месте земледелия.

Земледелец „кормит и богатит и себя, и ремесленника, и торговца, и болярина, и краля (царя)".

Содействие земледелию со стороны правительства может выразиться: 1) в надзоре и изучении почвы и местных мероприятий, для чего назначаются особые чиновники—„углядники", 2) в отыскании через „углядников" мест для постройки мельниц, крупяных заводов и проч., 3) в снабжении населения земледельческими орудиями по дешевым ценам и даже в кредит, 4) в заботе о сельском строительстве и распространении в деревне огнестойких построек через особых „градильников", 5) в развитии вспомогательных отраслей сельского хозяйства: пчеловодства, табаководства, шелководства, виноградарства, виноделия и проч.

Параллельно с земледелием рекомендуются заботы о горном деле. Премии за нахождение руд, подробное обследование почвы и укрепление за собственниками прав на недра—вот главнейшие предложения Крижанича.

Но он, конечно, не упускает из вида и обрабатывающую промышленность. На ее отсутствие Крижанич смотрит мрачно. „Мы,—едко замечает он,—продаем многие кожи иным народам, а сами босы ходим". Во внешней торговле должна быть организована защита отечественного производства от ввоза иноземных товаров. Вообще Крижанич—убежденный и последовательный протекционист, стремящийся к экономической независимости России. Он говорит: „не королевство для королей, а короли для королевства". „В королевстве убогом не лестно быть королем". „В королевстве убогом и необщественном король не может иметь обстоятельного богатства". „Где законы добры—там домовиты и подданные и радостно живут, и чужим желают к ним прийти, а где законы лакомы, там своевластные подданные желают перемен государству".

Создание новых производств, поощрение домашней и кустарной промышленности, изучение и введение новых ремесл, запрещение вывоза сырья, борьба с праздностью и тунеядством—вот главнейшие пункты его рецептуры. Ввоз образцов и приглашение мастеров завершают эту программу, основанную на вмешательстве государственной власти во все стороны экономической жизни. Еще большее вмешательство

он требует для торговли,—как то и полагали правильным все меркантилисты.

Все дело внешней торговли должно быть взято в руки казны, а иностранцам запрещено совсем.

Внутренняя торговля регулируется рядом культурных мер: 1) учреждение правильной почты, 2) единство мер и весов, 3) безопасность в пути, 4) кредит, 5) торговые палаты и цеховые „дружины“, 6) частные купеческие банки и ломбарды, „милосердные склады“, 7) упорядочение монетной системы, 8) борьба со спекуляциею.

„Житны прекупцы и хлебные дражители да будут казнены без всякого пощадения“. Он против монополии и монополистов („самоторжцев“). Все эти мероприятия должны быть производимы в национальном духе.

О модном для средневековья средстве обогащения казны плохой чеканкою монет Крижанич говорит с выразительностью не меньшей, чем европейские Альбертинские монахи: „Сей способ не только есть несправедлив и полон греха, но и веле облуден“. Мнимая прибыль правителей от порчи денежной системы—„истинная убыль и тщета для народа“. Прибегать к такому средству равносильно рискованной хирургической операции: „злых пенязь кование подобно отчаянным смертным лекарствам“. И если постоянно ухудшать монету, то, как „кровь из открытой жилы“, „все благо из народа истечет“.

Неумеренное и неустанное обложение („обтяжение“) населения также встречает энергичный протест нашего экономиста. Пользуясь каждым случаем, он горячо защищает интересы народа,—или „людства“, как он выражается. Что создается „без труда и пота“, „без права и терпения“, то, по глубокому убеждению Крижанича, временно и непрочно.

Широта взглядов Крижанича не соответствовала эпохе приказов, застенка и повального холопства. Он был столь же одинок, как и его предшественник, благородный Ордын-Нащокин.

В Юрии Крижаниче мы видим замечательного ученого, первоклассного экономиста, симпатичного и честного писателя с редкою эрудицией и тонкостью анализа. Трагическая судьба делает его имя надолго безвестным. Крижа-

нич — жертва невежественности и бездушия московского приказного строя. Пришелец в Московию, которую он заранее горячо полюбил, как восторженный славянофил и неисправимый идеалист, Крижанич, повидимому, мог бы много дать своей новой родине, если бы она не закончила его деятельности суровой пятнадцатилетней ссылкой. И сосланный, он все же имел человеколюбие и мужество написать замечательное сочинение, изданное и оцененное только спустя три столетия. Для современных Крижаничу россиян его искренние мысли остались совершенно неведомыми, и в этом коренится причина, почему, при всем даровании и замечательной эрудиции, Крижанич не оказал влияния на все последующее развитие русской экономической мысли. Да, деятельность и идеи Крижанича—большой трагический эпизод русского общественного развития, без корней в предыдущем, без связей в последующем!...

При других условиях,—как верно заметил еще профессор Брикнер,—Крижанич у своих современников прослыл бы реформатором, знаменитейшим предшественником Петра Великого. Вместо этого он был ссыльным, незамеченным, забытым. Современники не знали о том, что он хотел сделать на пользу России. Современники не могли учиться у него. Его сочинения, столь богатые содержанием, остались гласом вопиющего в пустыне.

И не только историческая справедливость требует остановиться на Крижаниче: его сочинения и поныне заслуживают внимания, а как исторический источник для суждения о меркантилизме—они неоценимы. Это становится особенно ясным при сравнении его с Сильвестром.

Его кругозор несравненно шире кругозора „Домостроя", автор которого едва заслуживает названия писателя-экономиста, но Крижанич, почти вовсе неизвестный на Западе и весьма мало известный у нас в России, принадлежал к числу самых замечательных писателей-экономистов XVII века [1]).

И действительно, в главном труде Крижанича содержится ряд глав, посвященных исключительно экономическим вопро-

[1]) Брикнер: Иван Посошков. Спб, 1876, стр. 85.

сам; таковы: Дел. I. О благу; раздел I. О торговству; разд. II. О реместву; разд. III. О тежачеству. Дел. II. Об силе государства; разд. I. О твердынях; разд. II. Об оружию; разд. III. О строях военных; разд. IV. О ратниках; разд. V. О рудах, т.-е. о горных богатствах.

Между тем на Руси наступали новые времена. Центральная власть в лице императора суровою рукою внедряла новые идеи и новые учреждения. Всеобщая регламентация, опека, надзор стали девизом новой системы. Варварская, проникнутая духом полицейского сыска и бюрократического цинизма „Инструкция для управления имением" Волынского (1740 г.) превосходно иллюстрирует систему организованного, всепроникающего надзора [1]).

Когда забытая „Инструкция" была напечатана в „Москвитянине" (1854 г., №№ 1—2), все приспешники николаевского режима приходили в восторг от этого эмбриона будущей Управы Благочиния и III Отделения. Полицейский кодекс меркантилизма, „Инструкция" Волынского уже находится в тесной связи с новым течением, с энергично вводимым в жизнь меркантилизмом. Трудно придумать лучшую экономическую систему для самодержавия, чем меркантилизм. Вскоре Петр I терроризировал ею страну, а политический младенец Посошков доверчиво создал ей патриотическую идеологию.

Литература о Крижаниче.

Собрание сочинений Ю. Крижанича, 2 вып. Москва, 1891 г.

Безсонов: Юрий Крижанич, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке, в журн. „Православное Обозрение" за 1870 г., книги январь—декабрь, биография Крижанича. Безсонов считает Крижанича панславистом.

Того же мнения **В. Водовозов** („Патриарх Никон и Крижанич) в журн. „Народная Школа" за 1878 г., № 12, приложение.

Безсонов: Русское государство во второй половине XVII в., в „Русской Беседе" за 1859 г.; здесь приложены его „Политические думы", найденные Безсоновым в 1859.

Марневич, А.: Юрий Крижанич и его литературная деятельность. 1876. По Маркевичу, Крижанич—униат и славянский патриот.

[1]) На значение этой инструкции впервые обратил внимание изложивший ее подробно профессор В. Лешков в своей статье: „Древне-русская наука о народном богатстве и благосостоянии".

Бережков: План завоевания Крыма, составленный Крижаничем в „Журн. Мин. Нар. Пр". за 1891 г., № 10 и отдельно Спб. 1891.

Брикнер: Юрий Крижанич, в „Древней и Новой России" за 1896 г., его же статья о Крижаниче в „Северном Вестнике" за 1896 г.

Белокуров. С. А.: Юрий Крижанич в России. Москва, 1901. Крижанич, по Белокурову, исполнитель тайной католической миссии, направленной к завоеванию доверия московского царя.

Записчи Юрия Крижанича о миссии в Москву. Москва, 1901.

Белокуров, С. А.: Из духовной жизни московского общества XVII века, Москва, 1903.

Вальденберг, В.: Государственные идеи Крижанича. Спб. 1912 г. Здесь, между прочим, внимательно рассмотрен вопрос о тайной миссии Крижанича и о соответствии ее с идеологией славянского патриота.

Липовский, А.: Темное и спорное в биографии Юрия Крижанича. „Изв. Отд. рус. яз. и слов. Имп. Академии Наук" за 1903 г., книга 4, стр. 362—375.

Пичета, В. И.: Юрий Крижанич, его экономические и политические взгляды. Спб. 1914. Работа дает сводку подлинных текстов по экономическим и политическим вопросам из сочинений Крижанича.

3. Иван Посошков (1670—1726).

Замечательному русскому человеку, крепостному крестьянину Московской губ. Ивану Тихоновичу Посошкову выпало на долю формулировать экономические стремления и интересы более передовой части русского общества петровского времени.

Биографические сведения о Посошкове очень скудны. Точно не установлен даже год его рождения; биографы его называют различные годы от 1650 до 1670; он родился в селе Покровском, около Москвы, повидимому, около 1670 года. Впервые его имя встречается в документах по делу Авраамия, строителя Андреевского монастыря, подавшего Петру „тетради" о причинах недовольства в народе. В числе привлеченных к ответу по этому делу были крестьяне „Ивашка да Ромашка Посошковы". Из этого дела Посошкову удалось выпутаться благополучно. Затем он вел деятельную жизнь в качестве пионера зарождавшейся русской промышленности, работал над изобретениями по военной части,

много писал, приобрел довольно значительное состояние, но не занял выдающегося положения среди сотрудников Петра. Умер Посошков при Екатерине I в Петропавловской крепости, 1 февраля 1726 г., причем причина его ареста в точности не выяснена: повидимому, преследование было вызвано его сочинением „Книга о скудости и богатстве“ (1724 г.).

И. Т. Посошкову принадлежит ряд сочинений и записок как из области религиозной, так и общественно-экономической. Главнейшие из них следующие:

„О ратном поведении“, доношение—1701.
„Доношение о исправлении всех неисправ“—1704.
„Зеркало, сиречь изъявление очевидное“—1708.
„Завещание отеческое“—1719-1720.
„Книга о скудости и богатстве“—1723.

Книга „О скудости и богатстве“—основное экономическое сочинение И. Т. Посошкова; оно разделено на вступление и девять глав, а именно: 1) о духовности, т.-е. о духовенстве; 2) о воинских делах; 3) о правосудии (здесь же рассуждения о необходимости созвать выборных людей из всех сословий, о переманивании беглых крестьян, о нищих, бродягах и тюрьмах и т. д.); 4) о купечестве; 5) о художестве, т.-е. о ремесле и заводской промышленности; 6) о разбойниках; 7) о крестьянстве; 8) о дворянах, крестьянах и о земляных делах; 9) о царском интересе. Таким образом экономические идеи Посошкова изложены в главах: 4, 5, 7, 8 и 9.

Книга „О скудости и богатстве“ содержит, по мнению самого автора, два „изъяснения“: одно—отчего приключается скудость и отчего „гобзовитовое богатство умножается“, другое—„о всенародном обогащении“ и „о богатстве царственном“.

Эти „изъяснения“ написаны автором под влиянием высокой патриотической идеи: „чтобы вся наша великая Россия обновилась как в духовности, так и в гражданстве“. В духовной области Посошков крайний националист, здесь он совершенно не допускает вмешательства иностранцев, а в гражданской, наоборот, он указывает, что „необходимо учиться у иноземцев“.

Посошков—типичный меркантилист: он поглощен величием денег и торговли. В главе о купечестве Посошков настоятельно указывает на крайнюю важность купечества для страны и на необходимость защищать и поддерживать его. Никто „иночинный“ в купечество их вступаться не должен, и купцам должно дать „торг свободный“. Всем другим, кроме приписанных к купечеству, нужно запретить торговать. Без записи в сословие нет и торга.

В купечестве распространены обман, обвешивание, излишние цены. Чтобы „благодать божия воссияла на купечестве“, нужно, чтобы товары продавались по своему достоинству, а „цену брали по пристоинству товара прямую, настоящую, какая коему товару положена“.

Ради достижения „неподвижные правды в купечестве“ необходимо ввести надзор особых сотских и десятских, завести систему штрафов и наказаний. „За всякую излишнюю копейку взять по гривне или по две и высечь батогами или плетьми, чтобы впредь так не делал“. За вторичную провинность и штраф и наказание сугубое.

Сотские и десятские должны следить за установленными ценами, и их неисправные поступки наказываются стократным штрафом и ударами кнута.

Иностранцы также должны подчиняться правилам и иметь разрешения. За ними организуется целая система надзора, сводящаяся к тому, чтобы иностранные купцы не набавляли цен на товары. Между тем они на все набавляют цены и продают массу негодных и легко портящихся вещей, „как, напр., стеклянную, легко бьющуюся посуду. И нам если заводов пять-шесть построить, то мы все их государства стеклянною посудой наполнить можем“.

Платье и траты купцов должны соответствовать достатку, излишнее должно брать „на государя“. Если же, наоборот, купечество не сможет справиться со своими деньгами, им необходимо давать процентные ссуды из казны.

Вообще „купечество у нас в России чинится весьма неправо: друг друга обманывают и друг друга обидят, товары худые закращивают добрыми, и вместо добрых продают худые, а цены берут не прямые, и между собою союз-

ства нималого не имеют, друг друга едят и тако вси погибают"...

„А торг великое дело... понсже купечеством всякое царство богатится, а без купечества никакое и даже малое государство быть не может"...

„Дать купечеству торг свободный,—дабы от торгов своих сами полнились и е. и. величества интерес умножили".

В главе о художестве Посошков ратует за ремесленный труд, правильную организацию ученичества, надзор за мастерскими, за устройство казенных фабрик, поддержку изобретений и розыск новых форм производства и сырья. Сырье необходимо перерабатывать самим.—„Чем им от наших материалов богатиться, то лучше нам, россианам, от своих вещей питаться и богатиться".

Вообще Посошков полагает, рассуждая о царском интересе, что „охранение—добрый товарищ собирания (т.-е. накопления)".

Все рассуждения Посошкова снабжены целым рядом практических указаний, примеров из жизни, из виденного и слышанного автором. Опыт и сведения его очень обширны и разнообразны.

Когда „Книга о скудости" была вновь разыскана и в 1842 году переиздана историком М. Погодиным, значение этого сочинения было преувеличено. Ее достоинство усматривали в том, что Посошков, „родясь лет за пятьдесят до политической экономии в Европе, посчитал живо ее правила" и как бы предвосхитил идеи Адама Смита. Не только Погодин, но Брикнер, Миклашевский, даже Павлов-Сильванский видели в нем крупного теоретика и смелого новатора. Это не верно. Посошков не смитианец, или предтеча экономического либерализма, а только типичный меркантилист той эпохи с местным русским колоритом: с признанием важности нужд сельского хозяйства.

Плеханов совершенно верно выдвигает для характеристики духовного содержания мировоззрения Посошкова его религиозные сочинения: „Зеркало очевидное" (1708) и „Завещание отеческое" (1719).

Все, по мнению Посошкова, должно быть сообразно своего достоинства. Даже свет в церкви, поклоны и прикладывания различны по удельному весу и достоинству икон и святынь.

Посошкову чужды свобода совести и веротерпимость. Он не только рекомендует гнушаться всех „лжепророков и хульниц", но их „посекать и в огнь вметать". Впрочем, и этого мало. Если останутся кости сожженных раскольников, то, „разбив их, паки изжечь, чтобы в пепел претворились, тот пепел в помет человечь вмесить или в непроходимое болото развеять, чтобы ученикам их собрать и во святые мощи причести им было невозможно" („Завещание").

Посошкову чужды идеи народовластия и гражданской свободы. Он монархист. „В московском государстве, — как едко замечает Плеханов, — республиканцев не бывало". Его политическое мировоззрение отражается и на экономической теории — царь может по своему произволу определять стоимость денег. „У нас не вес денег имеет силу, но царская воля".

„У иноземцев короли такой власти не имеют, яко народ. И того ради короли их не могут по своей воле что сотворити, но самовластны у них подданные их, а паче купеческие люди".

За границею в деньгах определяется их товарная стоимость, но это, думает Посошков, неправильно. „По нашему простому разумению, — говорит он, — (такой порядок) королю бесчестие", что деньги определяются по купеческой цене, а не по указу царя. „У нас самый властительный и всецелый монарх, а не аристократ, ниже демократ". Тем не менее Посошков ратует за чистоту металла в деньгах, за расплату за границею только золотом и за удержание серебра в отечественных пределах. Он резко нападает за воровство плохой чеканки.

„В денежном деле тщание великое приложить, от чего царские сокровищницы могут наполниться и народ пользу не малую приемлет".

В деле валюты нужно управлять с „твердым разумом" по установлению порядка и „яко столпу быть неподвижну".

Теоретически анализ денег у Посошкова отстает от его современников и предшественников. Николай Орезмиус

в XIV в., Коперник и Карафа в XV в., наконец Скаруффи и Даванцати в XVI в.—дали на Западе законченную для своего времени теорию денег.

„Книга о скудости и богатстве"—основное экономическое произведение Посошкова—писалась в течение двенадцати лет (1712—1723); впервые она была опубликована М. Н. Погодиным в 1842 г. переиздана А. Кизеветтером в 1911 г. Она предназначалась в первую голову для чтения „самому царю" и представляла собою синтез жизненного опыта проницательного наблюдателя и недюжинного человека. Это, без всякого сомнения, совершенно оригинальный труд, и никакого литературного влияния на нем проследить, как указывали некоторые [1]), нельзя. Посошков не был теоретиком-ученым, а лишь публицистом-практиком, мечтавшим о реформах в России и безотрадно смотревшим на ее действительность. Критика Посошкова беспощадна. „Аще кто восхощет умными очами воззрения на житие наше-православно-российское и на все поведения и дела наша,—говорит Посошков, — то не узрит он ни во едпной какой вещи здравого дела". „Живем мы всем окрестным государством в смех и в поношение". „Везде у нас худо и непорядочно".

Что очень важно, воззрения Ивана Тихоновича Посошкова разделяли многие из его современников. Это, быть-может, и дало повод П. Н. Милюкову считать Посошкова простым зеркалом, простым отражением того, что говорилось вокруг него в эту эпоху. Это, конечно, не верно, но во всяком случае Посошков не был так одинок в своих политических и социально-экономических воззрениях, как одно время думали. Из лиц, которые разделяли и высказывали меркантилистические воззрения, можно назвать Савву Рагозинского, Федора Салтыкова, барона Любераса и некоторых других. Но эти лица принадлежали скорее к лагерю Петра, т.-е. к лагерю более прогрессивного направления.

---

[1]) Так, напр., Брикнер полагает, что Посошков близок по взглядам к англичанину Вальтеру Ралею и голландцу Питеру де-ла-Куру. Брикнер, А., „Иван Посошков". Спб 1876 г., стр 178—191.

Посошков всячески советует поощрять национальную торговлю и промышленность и бороться против иноземцев. Но борьба эта своеобразная: „прогнать“, „загородить“, „запретить“ и т. п. Он даже доходит до идеи организовать общую стачку для повышения цен.

Так же отстал Посошков в своих взглядах на крестьянство. Все, к чему он стремится, это, во-первых, облегчить их участь у помещиков, которые „не вековые владельцы“, и передать их прямому их владельцу—„всероссийскому самодержцу“; во-вторых, помочь их просвещению, которое вообще он считает очень важным очередным делом. Для благополучия страны крестьян надо охранять указом от помещиков, чтобы они были „прямыми, а не нищими“. По мнению же Посошкова, бедность и нищенство—нарушение интересов царской казны. Но за побеги и праздность крестьян необходимо сурово наказывать. Посошков против служилого класса, против неправды в судах, против обмана и пр.—за грамотность и правосудие для народа.

Обложение, по его мнению, должно быть не подушное, а „по земле“, а „земли“ по пределу—уравнять участки. Отсюда требование межевания и кадастра, выгодного, конечно, лишь для представителей интересов частной собственности.

Сам крестьянин, Посошков все же идеолог не крестьянства, а торгово-промышленного класса. Он экономист монархической власти, опирающейся на капиталистическую буржуазию.

Книга Посошкова—не свободное публицистическое произведение, а секретный доклад царю.

Литература о Посошкове:

Царевский, А. Посошков и его сочинения. М. 1883 г. Милюков. Государственное хозяйство России и реформа Петра Великого. 1732 г. изд. Спб. 1901. Брикнер, И. Посошков, Спб. 1876 г. Павлов-Сильванский, Н. Проекты реформ в записках современников Петра Великого и статья: „И. Т. Посошков“ в „Очерках по русской истории XVIII г.“. М. 1910 г. Ключков, М. В. Посошков о крестьянах (ст. в VII вып. сборника „Великая реформа“, изд. Сытина). Сочинения Посошкова изданы Погодиным—т. I. Москва 1842, т. II. М. 1863.

4. Остальные меркантилисты.—„Пропозиции“ Федора Салтыкова.

С конца века началось непосредственное и притом массовое знакомство русских людей с европейскою культурою. В этом смысле не было разницы между последними годами царствования Алексея и временем Петра. С 1697 г. началось паломничество русских людей на Запад, не прекращавшееся в течение всего царствования Петра. Множество русских перебывало за границею и нередко жило там подолгу, для учения по приказанию государя, по делам службы и по собственному желанию [1]).

Первые впечатления были наивны и сумбурны, как то видно из сохранившихся писем и дневников. Освоившись, более просвещенные и подготовленные к восприятию виденного начинают рекомендовать иноземные учреждения и просвещение. За этим последовал период рекомендации перенесения западных учреждений и порядков в Россию, часто без всякой критики и понимания русских условий.

Впереди других в этом отношении стоит Федор Степанович Салтыков (1670—1724) с двумя его записками, поданными Петру Великому одна в 1713 году, другая в следующем (первая из них напечатана в 1892 г. г. Тихоновым, вторая в 1897 г. Павловым-Сильванским).

Спальник Салтыков, сын небольшого воеводы, был в 1687 году послан в числе других в Голландию и Англию учиться мореходству. Он, как и остальные, по возвращении в Россию провалился у Петра на экзамене по судостроению и попал в гвардию капитаном. Участвовал в битве под Нарвою и был послом в Польше. В 1703 году получил должность корабельного мастера, с тех пор проводил время преимущественно за границею по поручениям Петра I. В 1711 г. выехал в последний раз для покупки судов и в 1715 г. за границею скончался. За границей и были написаны оба его доклада.

---

[1]) Павлов-Сильванский. Проекты реформ в записках современников Петра Великого. Спб. 1897, стр. 4.

Общая идея его обеих записок — европеизация России и усвоение тех же начал, что легли в „основание всех лучших европейских государств". Правда, Салтыков об этом говорит только вскользь, выставляя на первый план интересы чисто-фискальные; вторую записку он прямо озаглавливает: „изъяснения прибыточные государству", но общий смысл его предложений (или „пропозиций") совершенно ясен.

Салтыков рекомендует различные формы просветительной деятельности, от гимназий до библиотек включительно, уделяет много внимания реформе социальных отношений, рекомендует сословно-аристократические учреждения Запада и заботится о развитии в России ремесл, торговли, промышленности, финансов. Салтыкову нравится цеховой строй в промышленности, и он думает, что введение его у нас поможет „вычистить ремесла и промыслы и привести их в такую же изящность", как на Западе. В программу обучения он включает обучение целому ряду ремесл.

Увеличение числа фабрик и заводов, особенно тех, что уже укрепились в Голландии и Англии, Салтыков считает делом крайне настоятельным. Он дает целый список отраслей заводской промышленности, которые стоит поддерживать и устраивать. „Заводы велеть заводить во всех губерниях купеческими людьми, собрав из них нескольное число в компании и от них к тому учинить складку, смотря по пропорции пожитков их". Таким образом Салтыков высказывается за частную инициативу, хотя и не без надзора правительства.

В случае, если продукты такого производства не находили бы в своей стране сбыта, их „можно рассылать в иные государства на продажу, а от того будет свой россиийский народ богатиться, а не чужие". Такие же организации Салтыков рекомендует и для подъема внешней торговли. В предложении 1-ом главы IV о купечестве в „пропозициях" говорится с обычною для Салтыкова лаконичностью: „Велеть во всех губерниях учредить колонии или компании торговых людей и тем компаниям с принуждением велеть торговать в иные государства, которые

к тем губерниям лежат". Члены компании должны были вносить необходимый складочный капитал, причем четвертую часть давала казна. Компании должны были посылать свои товары за границу („в Голландию, Англию, в Стрецыю, на Ост-Зеа, в Персиду, а из Сибири в Китай и в Бухарию и в разные соседственные государства").

В торговле помогают консулы, а также торговая молодежь, которая отправляется за границу для обучения тому, как книги вести торговые, корреспонденцию и пр. Для создания особо именитого купечества учреждаются звания баронов, патрициев и бургграфов с высокою оплатою грамот и гербов. Основная идея организации торговли у Салтыкова чисто-меркантилистическая: вся торговля должна быть в руках русского купечества. За иноземною торговлею должен быть строгий и опытный надзор.—Вообще купечеству и торговле должно быть уделено большое внимание. „Купечество есть твердое основание богатства всех государств",—ясно и отчетливо заявляет Салтыков строго в духе времени. При этом идеалом для него служат процветавшие Англия и Голландия.

Другая мысль эпохи—о принудительном воздействии государственной власти на торгово-промышленную деятельность подданных—также сродни Салтыкову. Заводы нужно „повелеть" устроить, купцов нужно „принудить" к заграничной торговле, порядки—установлять и т. д.

Государство, по мнению Салтыкова, всегда и во всем должно заботиться об умножении числа денег—этого основного требования европейских меркантилистов. Размножение фабрик и заводов, организация купеческих товариществ и пр.—все это, в конце концов, имеет целью „соблюдение великого числа денег". Вместе с тем, развитие национальных торговли и промышленности сохранит ввоз иноземных товаров, т.-е. даст возможность сохранить в своей стране деньги, другими словами ясно, что торговый баланс тем самым улучшится. О балансе Салтыков хотя прямо и не говорит, но видно, что это понятие ему не чуждо.

Таможенное и налоговое обложение преследует ту же цель обогащения фиска, причем в предлагаемой Салтыко-

вым системе обложения сборы с духовенства и церковных земель играют немаловажную роль. На монастыри возлагаются тяготы по содержанию всех вновь проектируемых учебных заведений, а некоторые из монастырей преобразуются в убежища для воинов-инвалидов, как то „в Англии сделано".

Вообще, по мнению Петровского советника, всю внешнюю культуру, от городов, улиц и зданий до внутренних обычаев и порядков, нужно заимствовать именно из Англии и притом все делать „через все государство", т. е. от дворцов до хижин

Наконец, с тем же типичным согласием с европейской меркантилистической мыслью Салтыков почти нигде не заботится о народе и народном хозяйстве. Правда, во второй его записке можно найти несколько фраз о государственной пользе, об обогащении народа, о прибылях народу, о великой удобности людям,—но, понятно, не это ставит он, как меркантилист, во главу угла.

„Пропозиции" и „изъяснения" Салтыкова имели и имеют только историко-литературную ценность. Они не легли в основу кипучей и разносторонней деятельности Петра. Павлов-Сильванский сравнил все „предложения" Салтыкова с действительностью, и оказалось, что многое в России было введено Петром раньше или независимо от „указаний" Салтыкова.

Только один проект по вопросу о льноводстве и конопляном семени был, повидимому, результатом „донесений" Салтыкова. Таких авторов всякого рода проектов и донесений было в то время в России не мало. Особенно выделились по финансовым делам человек боярина Шереметева—Алексей Курбатов, первый прибыльщик, „худофамилиальный человек, произведенный в знатность волею государя", а затем—Конон Зотов.

Павлов-Сильванский собрал целую коллекцию проектов разных лиц, предлагавших те или иные реформы Петру I [1]).

Время выхода сочинений этого направления:

Пропозиции. Ф. Салтыкова. 1714.
О скудости и богатстве. И. Посошкова. 1724.
Проекты Любераса. 1723.
Инструкции Волынского. 1740.

---

[1]) Павлов-Сильванский. Н.: Проекты реформ в записках современников Петра Великого. Спб. 1897.

ГЛАВА V.

ИНОСТРАННЫЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ.

1. „Заимствования“ у немцев (эпоха Петра).

Жизнь и быт России сложились несколько отлично от хода развития и характера уклада остальной Западной Европы, которая в своем развитии всегда несколько опережала Россию. Отсюда для России самым важным историческим делом было дело приближения ее к Западной Европе, дело заимствования и подражания ей, словом—дело ее европеизации. Об этом влиянии нужно иметь точное представление. У нас его или не замечали, или преувеличивали, не замечая, что сходные экономические условия порождали одинаковые идеи. Неверное и преувеличенное значение иноземным влияниям придавал наш историк русской общественности В. И. Семевский.

По мнению Семевского, как бы происходила самостоятельная идеологическая зараза нашего общества западноевропейским. Между тем в действительности сходная экономическая база только создавала сходные воззрения.

Первые шаги к разрушению китайской стены, выросшей между Московской Русью и Западной Европой, начались еще при царе Алексее Михайловиче и настойчиво и систематически продолжались при Петре Первом. Все содержание „дела Петра“, весь смысл его титула „Великий“, все внутреннее содержание преобразований в его царствование—сводились к процессу европеизации полуазиатской России.

Несмотря на „презельную горячность“ Петра и „птенцов гнезда Петрова“—эпоха Петра еще не внедряла по существу настоящей европеизации. Сближение с Западной Европой было чисто-внешним. Европеизация тех дней была только заимствованием и насаждением европейского, по преимуществу практического и чисто-внешнего характера. Ничего существенного, ничего общественно-важного, ничего идейного, ничего принци-

пиального в этом виде западничества не было. Только костюм и обстановка верхушек, живших в петровском „Парадизе“, говорили об Европе. Затем созрели понятия о государственном бюджете и крупной фабрично-заводской промышленности. Торговый капитал, поддержанный центральною властью, расширялся и обращался к производству. Начались меры к поощрению устройства промышленных предприятий. Регламент Мануфактур-Коллегии (1723) объединил и оформил первые шаги русского промышленного капитализма.

Русский экономический процесс, аналогичный Европе, естественно вызвал сближение России с Европой, самая наличность европейского воздействия сделала свое дело. Россия с внешней стороны, особенно в больших городах и столицах, понемногу преобразовывалась. В Европу открывался выход, правда, не ворота, а только еще то небольшое „окно“, о котором образно сказал Пушкин.

Первоначальное немецко-голландское, отчасти шведское воздействие не могли, конечно, проникнуть в ширь и особенно в глубь, а „выучка“ у иноземцев часто приносила не те плоды, ради которых она первоначально зачиналась. Русский человек петровской эпохи ехал за границу, чтобы „научиться воевать и строить корабли“, а возвращался оттуда с умением „рассуждать и строить политические системы“.

Распространению новых политических взглядов также помогала и появившаяся к этому времени переводная политическая литература. Она несла с собою новые идеи, а потому и отечественные писатели, как, например, Феофан Прокопович, тоже были вынуждены знакомить с ними россиян. Так узнавали об иных, кроме исконно-русских, политических системах, о государственных системах Европы. Сам Феофан Прокопович в своей искательной „Правде Воли Монаршей“ вынужден был основываться на доводах „естественного разума“, что, по тому времени, было неслыханным делом. Петровские реформисты и прожектеры вносили, вводили и рекомендовали много западного; впереди всего — последнее слово меркантилизма — кольбертизм, т.-е. систему насаждения крупного производства средствами государства.

Все это принесло свои плоды сейчас же после смерти Петра, когда формально закончилось теоретическое обоснование и практическое внедрение в русский государственный организм идеалов европейского меркантилистического государства. Теория естественного права и политический либерализм проникли впервые в самодержавную Россию с ее монархом — божьею милостью. Старое московское царство, полу-азиатская восточная деспотия, начало отходить в область предания: примитивный земледельческий быт сменялся капиталистическим.

Новые западные настроения и идеи—Гуго Гроция, Пуффендорфа и Томаса Гоббса — были живо восприняты в первую очередь шляхетством (дворянством), единственным просвещенным классом тогдашней России. Этот класс переработал зарождавшийся отныне в России политический либерализм в собственную либерально-помещичью систему. Западная государственная идея получила русскую классовую подоплеку.

И так как дворянство было первым просветившим себя западными идеями слоем населения, то естественно, что оно раньше всего и позаботилось о себе самом и, в первую голову, поставило на очередь свою собственную эмансипацию. Не успел еще заглохнуть торжественный похоронный колокол, возвещавший кончину грозного Петра, как дворянство высоко подняло голову. Остальной народ, как всегда, „безмолвствовал“, живя своим старым укладом и в своих старых понятиях. Русское общество расслоилось на интеллигенцию, по сути образованных бар, „господ“, и на простой народ.

К 1726 году, т.-е. перед воцарением Анны, как известно, был уже выработан первый проект русских конституционных „пунктов“. Их вырабатывали верхушки „аристократии“ — „верховники“, стоявшие у трона. Они основывались на теории естественного права, приспособленной, впрочем, к собственному употреблению, т.-е. к обоснованию и защите сословных, узко-дворянских привилегий. Нарастала первая „революция сверху“. Говоря о суверенитете народа, революционеры 1726 года, „верховники“, понимали народ только как себя самих, т.-е. как „просвещенное шляхетство“,—

это, по их мнению, единственное проникнутое светом разума сословие. „Неразумным“ же слоям остального населения, тем паче крепостному крестьянству, они пока совсем отказывали в праве на гражданскую свободу и утверждали, что крепостное крестьянство по „естеству своему“ „не может пользоваться вольностью, а потому остается в порабощении“.

Типичным тогдашним выразителем социально-экономических сословных притязаний дворянства, но под красивым флагом естественных прав человека, был Василий Никитич Татищев (1685—1750 гг.), игравший вместе с князем Д. Голицыным видную роль в движении 1726 года. Он изложил свои экономические и политические взгляды в двух сочинениях: „Духовная моему сыну“ (1733) и „Разговор о пользе наук и училищ“ (1735 г.). Последний, к сожалению, до сих пор не напечатан.

Ход мыслей Татищева следующий: естественный закон человеческой природы везде и всегда один и тот же; он заключается в стремлении к свободе. Насильственное лишение свободы противно человеческой натуре и должно восстанавливаться самообороною. Порабощенный должен воспользоваться первым представляющимся случаем, „чтобы разбить наложенные на него оковы“.

Кроме насильственного лишения воли, рабства, есть другие виды несвободы, мирящиеся с естеством человека,— это отказ от воли по договору и неволя по природе, т.-е. по неразумности существа,- как, например: дети, крестьяне. Зато „всякий шляхтич по своей природе,—думает Татищев,— судья над своими холопами, рабами и крестьянами“. Последним, как неразумным, даже полезно быть не свободными. Василий Никитич Татищев—убежденный и стойкий сторонник петровских реформ и в то же время—принципиальный крепостник.

Спустя тридцать лет первый русский автор руководства по естественному праву Золотницкий в своем учебнике также утверждал, что „все люди в натуральном состоянии между собою равны, однакоже не все достойны равного мнения, чести и похвалы“.

Эту же смесь естественно-правовых воззрений с сословными вожделениями несколько позднее авторитетно повторил

и князь М. М. Щербатов. В своем „Путешествии в страну Офирскую“ (1783 г.) [1]) и в трактате „О повреждении нравов в России“ (1786 г.) он также поддерживает дело политической европеизации дворянства России—этот первый шаг к постановке всей проблемы об европеизации, которая назревала в течение всего XVII столетия и впервые осуществилась в XVIII в.,—но поддерживает на свой чисто-дворянский лад. Либерализм и стремление к политической свободе на первых порах носят, как мы видим, узко-сословный характер. Назревает время расширения применения прав свободы от сословия ко всему народу. Начинают рассуждать о монархизме, но монархизме просвещенном. Идеи естественного права вносят гуманизм и рационализм В такой атмосфере появляется и действует Ломоносов, студент марбургского университета, вольфианский эвдемонист по направлению.

Но вот разражается Великая Французская Революция. Она сделала и в России свое дело: появились первые русские общественные деятели—Новиков, Радищев, Пнин. Они отрешаются от сословной, чисто-классовой точки зрения. Они, дворяне, идут против своих интересов, становясь выше их. т.-е. являясь первым зародышем русской вне- и надклассовой интеллигенции. Тем самым начинает впервые зарождаться общественное мнение. Политический либерализм от сословия переходит ко всему обществу. Естественно, что общественное мнение на первых порах не могло быть ни национальным ни независимым. Началось с подражаний, с подражаний Западу.

Процесс подражания,—этот первый акт европеизации России,—начался с подражания Германии и Голландии. Петр Великий увлекался немцами и родственными им по духу и крови голландцами. Немецкое влияние поддерживал и М. В Ломоносов. В государственном устройстве этот период выразился в насаждении начал военного и полицейского государства, в литературе—созданием ложного классицизма, в общественном мнении—во внешней культуре, во введении европейского костюма, западно-европейских обычаев, нравов

---

[1]) См. Святловский: Русский утопический роман. Птрд. 1922 г.

и внешних приемов. Европеизм коснулся только самых верхов и притом с чисто-внешней и формальной стороны: масса осталась попрежнему дикой и невежественной, только оттеняя все более растущий контраст культуры верхов и низов. Появилась и начала расти новая форма социального неравенства („народ“ и „интеллигенция“), с течением времени ставшая и грозною и трагическою. Народ постепенно расходился со своею интеллигенцией. Между ними росла пропасть.

Со времени царствования Елизаветы Петровны начинает понемногу проникать сверху новое влияние—*французское*, оно стало преобладать к концу века.

2. Французское влияние.

Вторая половина XVIII века приносит в Россию, как и в большинстве европейских стран, влияние французского гения, достигшего в эту эпоху наибольшего блеска и развития. Влияние Франции сказалось в трех направлениях—политическом, философском и экономическом.

Максимум политического воздействия выразился во влиянии идей Великой Революции. Поскольку верхи русского общества до разрушения Бастилии и казни Людовика XVI были за республику и политическую свободу, постольку первые признаки фактического народовластия охладили беспочвенный пыл поклонников свободы, по существу ее классовых антагонистов. Эпоха Екатерины была временем этого крушения, перелома и поворота. „Разочарование“ свободою охватило первых русских освободителей, Радищева, Новикова и других, испытавших на себе смену „очарования“ и „разочарования“.

Влияние философии было сложнее. Французская философия пришла к нам вместе с материализмом и сенсуализмом той эпохи. Но и материализм и сенсуализм уживались одновременно с их идейным антагонизмом—*мистицизмом* и *теизмом* Вольтера и с масонским *идеализмом*.

Материалистическое мировоззрение принесло с собою идеи Гельвеция, Гольбаха, Ла Метри, Дидро и других энциклопедистов. Названных материалистов, как и Великую Энци-

клопедию, у нас хорошо знали в ту эпоху. Хорошая библиотека больших бар содержала различные издания Вольтера, Гельвеция. Энциклопедию. Были хорошо знакомы с сенсуализмом Кондильяка и Дидро, которого звали Дидерот, знали кое-кого из материалистов, но поверхностно. Зачитывались и увлекались Вольтером, которого переводили и переписывали. Из материалистов особенно сильное влияние на русское общество оказали двое: Гельвеций и Гольбах [1]). Затем пришли идеи аббата Кондильяка и его ученика Ламорильера.

Масонское течение стояло отдельно, как дань созерцательной мистике. В нем тоже было несколько направлений: более аристократическое—шведское, более демократическое—немецкое.

Новые идеи в области государственного права и права вообще шли от Руссо, Монтескье и Беккария. Экономические принципы заимствовались от Мерсье де-ла-Ривьера и других физиократов.

Новые идеи и настроения первоначально коснулись престола. Первые годы своего царствования Екатерина шла в уровень с веком. Она вызвала в свет Наказ, она создала Вольное Экономическое Общество, поощряла Фонвизина и Державина, полемизировала с Новиковым, издавала сатирический журнал („Всякая всячина"). Словом, трон был в это время частью нарождавшегося общественного мнения и уголком нового русского общества.

Это „розовое утро" русской общественности должно на минуту остановить наше внимание.

Наставление законодателям—„Наказ" был крупным и ярким творением Екатерины. В Наказе отразились наиболее принципиальные и определенные идеи гуманности и либерализма той эпохи, и притом отразились настолько резко и сильно, что сама Франция не приняла своего детища: французский перевод Наказа в 1769 году был запрещен во Франции, как вредная и опасная книга.

Основной дух Наказа—полное освобождение человека, в частности от административного произвола и ареста, от

---

[1]) Э. А. Радлов: Гельвеций в России, то же содержание в предисловии к переводу. К. А. Гельвеций: Об уме, т XV трудов П. Ф. О-ва. Спб 1917.

религиозных стеснений и тисков безграмотности. Наказ высказывается за полную веротерпимость (гл. XX), за введение всеобщего обучения (гл. X), за уничтожение административного ареста, за введение машин и усиленное занятие земледелием, в котором, согласно с учением физиократов, Екатерина усматривала в те годы основу социального благоденствия.

Вольное Экономическое Общество давало выход для общественной инициативы в области сельского хозяйства и способствовало насаждению и развитию русской агрономии.

В своих личных сочинениях и статьях Екатерина суживала политический и социальный круг прав человека и гражданина, сводя все вопросы к морали личного самоусовершенствования.

Но вначале поощряемые ею уже и в дальнейшем не сбивались с верного пути. Новиков в „Трутне“,—первом сатирическом журнале, вскоре закрытом Екатериною,—деятельно отстаивает общие права человека и гражданина, восставая против социального неустройства.

„Бедность и рабство повсюду встречались со мною в образе крестьян,—пишет путешествующий сотрудник новиковского журнала „Живописец“.—Кричите, бедные твари! Произносите жалобы свои! Наслаждайтесь последним сим удовольствием в младенчестве: когда возмужаете—и сего утешения лишитесь“.

Политический либерализм получает социальное содержание.

Фонвизин в „Недоросле“ обличает злоупотребления помещиков и восстает против крепостного права. „Каждый должен искать своего счастья и выгод только в том, что законно“. „Угнетать рабством себе подобных беззаконно“ говорит герой Фонвизина.

Гражданское равенство и защита прав человека становится основным лозунгом передовых людей эпохи. Но этот лозунг, проходя через сословные группы эпохи, легко подменяется другим—равенством и правами только для одного „высшего сословия“, для „дворянства“. Общие права человека заменяются правами дворянина. Советница в фонвизинском „Бригадире“ говорит: „Мы все дворяне—мы все равны“.

По ее воззрениям, весь род человеческий делится на два лагеря: дворян и скотов. Скоты с точки зрения рабовладельцев должны иметь иную психологию, чем господа: „Лежит!— удивляется больной Палашке барыня Простакова, — ах, она, бестия! лежит, как будто благородная! Бредит, бестия, как будто благородная!“ („Недоросль“ Фонвизина).

Начинается энергичная борьба за эмансипацию „скотов“. Эту борьбу открывают те же дворяне, та дворянская, но уже внеклассовая интеллигенция, которая теперь тем самым впервые нарождается.

Эти дворяне идут против своих выгод и интересов и борются за интересы угнетенных и обездоленных групп. Они—политические либералы—с одной стороны и робкие реформаторы в социальной области—с другой.

Но раньше, чем изложить идеологию этой внеклассовой русской интеллигенции, отныне выступающей на историческую сцену России, всмотримся в характер тогдашних общих настроений и общих течений.

Французское влияние в конце века сменяется новым—английским, появившимся в начале следующего XIX века.

3. Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765).

Гениальный русский писатель и ученый, крестьянин Архангельской губернии, родился 8-го ноября 1711 года в деревне Денисовке, Холмогорского уезда. Он провел на родине первые 19 лет своей жизни. Дальнейшая история образования и судьба Ломоносова известны каждому русскому школьнику. Первую обстоятельную биографию Ломоносова составил академик В. И. Ламанский, издавший в 1864 г. очерк его жизни („М. В. Ломоносов“, биограф. очерк. Спб. 1864 г.). До этого времени довольствовались данными, собранными в начале XIX века академиком Лепехиным („Путешествия И. Лепехина“. Спб. 1805 год) В 1893 г. вышла более подробная биография Львович-Кострица: „М. В. Ломоносов“, где использованы новые биографические данные П. Пекарского („История Академии Наук“, т. II. Спб. 1873 г.). В 1911 г. сводку новых сведений дает П. Сибирцев: „К биографическим сведениям о М. В.

Ломоносове", Архангельск, 1911 г. Много важного сообщает вышедший к 200-летию рождения Ломоносова „Ломоносовский Сборник", изданный Академией Наук в Спб. в 1911 году.

Ломоносов был учеником (1736—1739 гг.) и последователем воззрений германского эвдеймониста, марбургского профессора Христиана Вольфа. 1-го ноября 1761 г. Ломоносов отправил графу И. П. Шувалову большое послание: „О размножении и сохранении российского народа", представляющее собою точное выражение взглядов по камералистике и популяционистике того времени. В своих воззрениях по основным вопросам политики народонаселения М. В. Ломоносов следует воззрениям Хр. Вольфа и П. Г. Юсти, а также своим личным наблюдениям над условиями тогдашнего быта народа. Послание Ломоносова представляет собою одну из девяти глав неоконченного им большого сочинения по вопросам внутренней политики и государственного управления. Темы, намеченные к изложению, были следующие:

1. О сохранении и размножении народа. 2. Об истреблении праздности. 3. О исправлении нравов и просвещении. 4. О умножении внутреннего изобилия. 5. О купечестве, особливо в сношении со внешними народами. 6. О ремесленных делах и художествах. 7. О лучшей государственной экономии. 8. О сохранении военного искусства во время долговременного мира. 9. О сбережении лесов, торфе и о различных вопросах, входящих ныне в область экономической географии.

Ломоносов принадлежит к числу тех популяционистов, которые видели благо в количественном увеличении народонаселения, в его росте. Отсюда и характер рекомендуемых им практических мероприятий, а именно:

1. Меры к увеличению количества рождающихся.

2. Меры к сохранению рождающихся природных русских подданных.

3. Меры к приему иностранцев, желающих вступить в русское поддайство. Каждая из этих категорий мероприятий довольно детально разработана Ломоносовым, а все вместе дает довольно полную картину практических мер, напра-

вленных к „размножению“ и „сохранению“ русского народонаселения. В основе воззрений Ломоносова лежит учение об естественном праве и естественном состоянии, как базисе человеческого счастья и благополучия. Самое совершенное государственное устройство есть то, при котором лучше всего охраняются общественные безопасность и благополучие, а первым условием благосостояния является наличность достаточного народонаселения. Государство должно об этом заботиться, ставя вопрос о народонаселении в связи с вопросом об его пропитании. По теории группы популяционистов, к которой принадлежит Ломоносов, государство не должно опасаться перенаселения, а, наоборот, заботиться об его умножении и сохранении. Вообще петровский меркантилизм носит у Ломоносова характер, уже смягченный гуманизмом и философией естественного права.

Из сказанного видно, что Ломоносов занял определенное место в учении о народонаселении. Вообще же других экономических сочинений Ломоносова не сохранилось. В приведенном выше перечне имевшихся у него заметок, как то видно из его письма к графу И. И. Шувалову, упомянуты рукописи по „Исправлению земледелия“, по „Исправлению и размножению ремесленных дел“, „О купечестве“ и „О лучшей государственной экономии“. Эти рукописи пока не найдены.

Дошедшее до нас сочинение Ломоносова по вопросу о народонаселении увидело свет только в XIX ст. [1]), хотя оно было написано в 1741 г., т.-е. более ста лет перед тем. Экономические воззрения Ломоносова по остальным хозяйственным вопросам нам неизвестны. Надо полагать, они мало отличались от взглядов передовых людей его времени. Политическим идеалом его являлось полицейское государство, руководимое просвещенным абсолютным монархом. Он твердо верит во всемогущество и попечительность просвещенной власти и весь тот метод единодержавного прогрессивного правления, которым руководился Петр Великий. В своем „Похвальном слове Петру“ Ломоносов восхваляет монарха за то, что „он предусмотрел за не-

[1]) Впервые записки были напечатаны спустя сто лет в „Москвитянине“ в 1848 г., кн. 1-я. „Материалы для истории Российской словесности“.

обходимо нужное дело, чтобы всякого рода знания распространялись в отечестве, и людей искусных в высоких науках, также художников и ремесленников в размножить". Он вообще думает, что „ежели человека, богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю".

Ломоносов считает, что данный Петру титул отца отечества за его „великие заслуги отечеству"—мал.

Любопытно сопоставить это восторженное мнение архангельского крестьянина с общим мнением крестьянской массы петровского времени. Контраст получается ошеломляющий, почти трагический. В делах Преображенского приказа сохранились народные вопли на „обменного шреда", „немчина из Стеклянного города" за то, что он „крестьян разорил с домами, мужей побрал в рекруты, а жен и детей осиротил". Простонародье усматривало в Петре — „антихриста" и ненавидело его. Вот два полюса отношения к лицу, которое отошло от традиции старины и властно вводило „новизну". Ненавистники старой Руси преклонялись перед Петром, но их было меньшинство, только в верхах, остальная масса видела в нем представителя чуждого ей элемента. Отношение к Петру сконцентрировало оба противоположных воззрения на Русь и на весь русский исторический процесс.

Как уже было сказано, основной экономический вопрос для Ломоносова—проблема народонаселения. В какой же плоскости решает эту важную и серьезную проблему Ломоносов, пишущий свои заметки в 1741 году?

В европейской науке той эпохи по вопросу о народонаселении имелось два течения—одно массовое, господствующее, рассматривавшее умножение числа подданных государства, как благо, другое, меньшее, скептически относившееся к гимнам росту населения и уже отмечавшее проблему перенаселения.

Первое течение связано с именами Германа Конринга, Секкендорфа, Зюсмильха и сэра Вильяма Петти, Джона Локка, Темпля, маршала Вобана, Монтескье, Руссо, маркиза Мирабо.

Основная мысль перечисленных писателей—величие страны измеряется количеством ее подданных, в умножении населения — счастье, богатство и сила. По мере уплотнения населения создается возможность для развития новых форм производства, в силу всего этого основная задача государственной политики—забота об увеличении народонаселения, это же очередной лозунг и в области народного хозяйства.

Второе, меньшее течение, это то, которое завершилось в знаменитом учении Роберта Мальтуса (первое изд. 1798 г.). Мальтус опубликовал первое издание (Essay on the principle of population") в 1798 г., т.-е. 57 лет после записки Ломоносова. Его предшественники Джованни Ботеро и Джаммарна Ортес, ведущие свое начало отэпохи Ломоносова, т.-е. середины XVIII века, уже в значительной мере высказались. Таковы в Англии сэр Вальтер Раллей, Маттью Гэль и особенно Джошуа Чайльд, подготовившие почву для обстоятельной разработки нового направления идей в этом вопросе. Суть их взглядов сводилась к требованиям ограничения роста населения.

Записка Ломоносова: „О размножении и сохранении Российского народа"—стоит на общепринятой в ту эпоху точке зрения и ратует за необходимость размножать и сохранять население для пользы государственного интереса. Поэтому вся система мер, как, например, устройство воспитательных домов („богаделенные домы"), воспрещение ранних и неравных браков, раннего монашества и проч. должна проводиться в целях ревнивой охраны существования и содействия появлению новых человеческих жизней. С этой же точки зрения, естественно, рассматривается и крестьянский вопрос. Он не затрагивает его по существу, а только с той же точки зрения—увеличения народонаселения. Крестьянские побеги, например, уменьшают население государства. Они больше происходят „от помещичьих отягощений и солдатских наборов". Если это ослабить, крестьяне не будут так разбегаться, и население не будет уменьшаться.

Ломоносов не касается ни существа помещичьей тяготы, ни положения крестьян. Этот вопрос встал только при Ека-

терине II, после Пугачевского бунта и особенно реакции, наступившей после первых дней Великой Французской Революции.

Литература о Ломоносове:

П. Пекарский. История Императорской Академии Наук в Петербурге, т. II, 1873 г., — лучшая биография М. В. Ломоносова.
М. И. Сухомлинов. Ломоносов, студент Марбургского университета. „Русский Вестник", 1861, т. 31.
А. Будилович. Ломоносов, как писатель. 1872 г.
В. И. Ламанский. Ломоносов. Биография. М. 1864 г.
Тихонравов. Письмо Ломоносова к Шувалову, в „Беседах О-ва любит. рос. словесности". М. 1871 г, вып. 3-й.
И. К. Сухоплюев. Взгляды Ломоносова на политику народонаселения. Ломоносовский сборник. Изд. И. А. Н. Сбп. 1911 г.
Сохранение и умножение человеческого рода. — Ломоносов. 1761.

4. Новые общественные деятели. Первые русские „европейцы"-интеллигенты. Новиков и масоны.

„Влечение к Западу" было первым естественным чувством в начале умственного пробуждения русского общества, а стремление к европеизации — первым необходимым шагом для участия в мировой цивилизации. Но Запад, к которому влекло и который стремились насадить, представлял собою все еще нечто далекое, чуждое, однородное, в нем не разбирали еще глубоких различий в его принципах и направлениях.

Основоположники русской культуры и начинатели великого процесса европеизации России, как Петр Великий и Ломоносов, всякие различия закрывали общею пропастью между западным образованием и умением и домашнею дикостью и невежеством. Европейская техника, ее практические навыки и успехи, ее наука и понимание особенно поражали умы россиян, и они совершенно естественно перенимали прежде всего все внешнее, практическое, прикладное. Смотреть в глубь вещей они научаются много позже, не раньше, чем спустя полвека. В царствование Екатерины Второй приверженцы западного образования тяготеют уже не к За-

паду вообще, а к его определенным теченпям и центрам. В эту эпоху можно уже резко разграничить два противоположных направления: морально-религиозно-мистическое и светское, либеральное, свободно-мыслящее.

Первое, связанное с деизмом и этикою, нашло себе выражение в масонстве. Масонские идеи о необходимости нравственного усовершенствования людского рода, о братстве людей, стремлении к добродетели и просвещению были восприняты и развиты Новиковым, этим первым высококультурным общественным деятелем новой России

Французское свободомыслие, знаменитое вольтерьянство— это новое и смелое пробуждение материализма и сенсуализма, эти первые поиски либеральной политики и радикальной экономии—лучше всего отразились в мировоззрении Радищева.

Новиков и Радищев, эти два столпа зарождающейся русской общественной мысли, несмотря на противоположность их направлений, имеют много общего в культурно-историческом смысле; они сходятся в пламенной любви к просвещению, в самоотверженном интересе к общественному благу, к началу, раньше чуждому русскому обществу, к началу, лежащему в основе всякой истинной общественности.

Параллельно с сатирическим и вольнодумным вольтерьянством и идеями политического либерализма, распространяются в высшем русском обществе идеалы масонства и мистицизма. Это общественно-этическое учение, учение созерцательно-спиритуалистическое и притом лишенное политического и экономического содержания, но прогрессивное во всяком случае. Ставя на очередь вопросы личности и общественного поведения, масонство вместе с тем вносило в общество идеи организации и дисциплины. На волю самодуров накладывалась суровая узда, а барский индивидуализм получал общественно-этическое содержание.

Через масонские ложи, вначале шведского аристократического типа, а затем немецкого демократического, прошли довольно обширные слои русского дворянства. Первые интеллигенты XIX века—будущие революционеры-декабристы— в свое время прошли через таинственные правила, конспиративные стены и таинственный ритуал масонских организаций.

Масонская мораль, мораль идеалистического типа, не шла в глубь явлений, не была оппозиционна или революционна. Она только сглаживала и смягчала острые углы разнузданного и необузданного крепостничества. Это была своего рода школа первой ступени общественности.

Такой характер масонства целиком отразился и на масонской литературе, склонной к мистицизму и оккультике, лишенной понимания реальных исторических, а тем более социально-экономических условий. Это прекрасно отразилось на русских масонских утопиях, излагающих социальные идеалы масонства, как и на всем отношении масонства к политическому либерализму.

Социально-экономические взгляды масонов, вначале довольно прогрессивные, постепенно бледнели и суживались. Это видно из его истории.

Русское масонство, как массовое явление, проявилось в высших дворянских кругах в начале царствования Екатерины II. Это были рационалистические и либеральные организации, связанные между собой так называемым „Елагинским Союзом".

В эту эпоху масонство носило характер философский и тесно сближалось с „вольтерьянством". „Вольтерьянец" и „фармазон" были синонимы. И действительно: и смысл человеческой деятельности, и задачи жизни — „постичь законы разума"—у тех и других были тожественны. Круг книг, откуда тогда черпались основные положения философии и морали, был у масонов и либр-пансеров (свободомыслящих) совсем одинаковый. Вольтер, Монтэнь, Фонтенель—из современных, Лукиан, Сенека, Марк Аврелий—из древних: вот настольные книги того или другого направления к началу 70-х годов XVIII столетия. Кн. М. М. Щербатов, автор русского утопического романа „Путешествие в землю Офирскую" (1784), будучи масоном, все строил „на доводах разума".

Масонские добродетели всецело были основаны на требованиях разума:

Лишь должно гнусну злость из мыслей истреблять,
И надобно во всем рассудку подвергаться
Мы можем в свете сем довольно утешаться"..

К началу следующего десятилетия масонство и свободомыслие уже расходятся. Вольтерьянцы остаются верны своим традициям, а масонство, утрачивая свой рационализм, проникается мистицизмом. У русских масонов появляется герменевтическая литература, книги по магии и кабалистике, переводные сочинения известных христианских мистиков.

Это, тем самым, было не только разрывом с рационализмом, но и открытым выступлением против свободомыслия.

„Беги от нас, злой вольнодумец,
Распутный—мест сих удались,
Беги, неистовый безумец,
Безбожник адский здесь не зрись“, —

пелось при открытии лож вольных каменщиков. Прежде высокочтимые французские философы попали теперь в члены „Академии развратителей“. В списке последних за Вольтером и энциклопедистами шли писатели по экономическим вопросам: Тюрго, Кондорсэ, д'Аржансон. „Их должно убегать и писаний их отнюдь не читать“,—советовали масоны этой эпохи.

Такой своеобразной эволюции в основных идеях соответствовало изменение в политических убеждениях, изменение, которое раскололо масонство на обширное, долго господствовавшее правое русло и более левое, пробудившееся около 1818 года вокруг Союза Великой ложи Астреи, в которой приняли участие многие будущие декабристы.

Если масоны в 1770 году строили свои понятия об обществе и государстве под влиянием учения об естественном праве, то для следующего десятилетия основа их взглядов определилась мистико-реакционною доктриной Сен-Мартена. Автор книги „О заблуждениях и истине“, появившейся во Франции в 1775 году, пытался разрушить идеи естественного права и являлся предтечею того мистико-политического мировоззрения начала XIX века, наиболее яркими представителями которого были Бональд и Жозеф де-Местр.

Отсюда ясно, что масоны не были оппозиционною группою, боровшеюся за социальные идеалы. В центре их деятельности лежала моральная идея. Они стремились исправить нравы. Добронравие, по их мнению,—высшая добродетель.

Об этом твердят и авторы масонских утопий кн. М. М. Щербатов, В. Левшин, М. Херасков [1]).

Ясно поэтому, что социальные симпатии масонов не возвышались над общим уровнем и носили ясно выраженный отпечаток классового мировоззрения дворянства, к которому они все поголовно принадлежали. „Сквозь дымку равенства, которую набрасывало на „братьев“ участие в ордене, отчетливо проступали все „светские“ различия общественного положения“, говорит историк русского масонства (Вернадский, стр. 189).

Братья вольные каменщики трактовали о равенстве всех людей, но имели в виду только, так сказать, „равенство с равными себе“. Но и в кругу равных себе они не забывали ни табели о рангах ни степени родовитости. Новикова оценивали только как „содержателя типографии“ и „поручика отставного“. Те же чувства проявлялись масонами и вне своего круга. Баре-помещики были ярыми крепостниками по отношению к своим слугам и крестьянам. Изысканный масон в гостиной, он энергично отстаивал крепостное право; зверь „на конюшне“, он думал, что в крестьянство проник „иллюминистический дух безначальства и независимости, распространившийся по всей Европе“. Полагали, что крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости, „войдут в такое своевольство и распутство“, что начнут всех грабить и резать; никто с ними не справится. Либерализм и „отпуск вожжей“ приводят к социальной оргии злодеев.

Отсюда и „социальная“ программа масонов: тушить в самом начале малейшие искры неповиновения и поддерживать священную и твердую власть государя, самодержца, „подкрепленного множеством дворян“. Но и дворяне должны быть строго верноподданными и чуждыми вольномыслия. Возмущающиеся граждане—враги отечества, и нет ничего „мерзостней бунтовщика“. Понятно, поэтому, и отношение масонов к Великой Французской Революции. Они видели в ней только „пагубные плоды мечтания равенства и буйной свободы“. Они определенно становились политическими реакционерами.

---

[1]) См. мою брошюру: „Русский утопический роман“. Петербург. 1922.

Конечно, отдельные лица, лучшие вожди русского масонства, возвышались над началами ненависти к вольномыслию, но они направляли всю силу своего часто недюжинного идеализма на внутреннюю работу и самопознание. „Эта внутренняя работа над совершенствованием дикого камня русской души,—говорит Вернадский,—оказалась наиболее прочною частью всей масонской деятельности Заложенные масонством XVIII века, особенно розенкрейцерством, психические основы (нового) внутреннего мира продолжали жить в душе русского человека много спустя после смерти Екатерины и даже после смерти Новикова“ [1]). Вернадский перечисляет следующих духовных детей Новикова: розенкрейцерство первой четверти XIX столетия, Вьельгорский, Ланской, Лабзин, декабрист Батенков, славянофилы кн. В. Ф. Одоевский, Киреевский, Аполлон Григорьев.

Социально-экономические идеи масонства лучше всего отразились в их мечтаниях, в масонских утопиях. Перу русских масонов принадлежало несколько социально-политических романов, из коих некоторые приближаются к обычному типу социальных утопий, так как заняты изображением идеального государства. Их читали, впрочем, менее охотно, чем такие переводные сочинения, как утопии Фенелона и Рамзая. Русские оригинальные произведения Левшина, Хераскова и кн. Щербатова не расходились у себя на родине так широко, как иностранные. Так, известное сочинение французского аббата Фенелона „Похождения Телемака, сына Улиссова“ выдержало в России 5 изданий в двух переводах, а англичанина Рамзая—два перевода в трех изданиях, что свидетельствует, конечно, о значительном спросе на такого рода книги.

Отечественные произведения, повидимому, таким успехом не пользовались; по крайней мере они не переиздавались, что и понятно для той эпохи, склонной только ко всему иноземному. Впрочем, наши утопии были не из первоклассных; так, драматург М. М. Херасков издает в Москве в 1788 г. „Нуму или процветающий Рим“, в 1786 г.—„Кадма и Гармонию“—два скучных переложения из древней

[1]) Вернадский: Русское масонство. Петроград, 1912, стр. 245. Также Ключевский: Очерки и речи. М. 1913, стр. 279

истории. В. А. Левшин издает в 1784 г. „Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве", произведение, лишенное искры таланта. Известный политический деятель кн. М. М. Щербатов в 1784 году пишет „Путешествие в землю Офирскую",—лучшее из сочинений этого рода.

Однако общий политический идеал Щербатова в утопии невысокого, а социальный — прямо отрицательного качества. Никакой широты или смелого полета фантазии в его утопии нет. Она—типичный продукт своего времени, особенно если вспомнить изолированность идей другого утописта той эпохи, Радищева, истинного предшественника декабристов и родоначальника революционного движения в России.

И в другом своем сочинении „О повреждении нравов в России", написанном в 1786—89 гг., т.-е. в дни начала Великой Французской Революции, кн. М. М. Щербатов не решается высказаться за ограничение прав монарха, который правит у него вместе с сенатом и парламентом.

Не дальше Щербатова идет автор другой утопии того времени, Дмитриев-Мамонов, написавший утопию „Дворянин философ", аллегорию, изданную в 1784 г. (2 изд. Смоленск 1796 г.). У Дмитриева-Мамонова все же звучат социальные нотки и ясно сочувствие к страдающим от крепостничества.

Таким образом мы видим, что социально-экономические идеи масонства были реакционного характера, а их политические идеалы лишены основных элементов политического либерализма и истинной гражданственности.

Литература о масонах.

Литература об этой эпохе довольно богата. Приведем более общие сочинения:

Лонгинов. Новиков и московские мартинисты. М. 1867 г.

Незеленов. Н. Новиков. Спб. 1875.

Боголюбов. Новиков и его время. Москва. 1916.

Масонство в его прошлом и настоящем. Под редакцией Мельгунова и Сидорова. 2 т. М. 1914—15.

Пыпин. Русское масонство. Спб. 1916.

Барсков. Переписка московских масонов XVIII в. Спб. 1915.

Вернадский. Русское масонство в царствование Екатерины II. Спб., 1912.

Сакулин. Из истории русского идеализма. Кн. В. К. Одоевский. М. 1913.

Саводник. Масонские труды Лопухина. М. 1913.

Сиповский. Новиков, Шварц и московское масонство, в прилож. к его книге „Карамзин". Спб. 1899.

Тарасов. Масон И. Тургенев, в „Журн. М. Н. Пр." за 1914 г. Кн. VI.

Его же. Забытый розенкрейцер — А. Кутузов. В сбор. статей, посвящ. Платонову. Спб. 1911.

Wolfstieg. Bibliographie der freimaurischen Litteratur. 2 m. Burg. b M. 1911—1913.

О вольтерианстве:

Языков, Д. Вольтер в русской литературе. М. 1902.

Сиповский. Русское вольтерианство, в журн. „Голос Минувшего" за 1914 г. кн. I.

5. А. Н. Радищев (1724—1802).

Тем ярче выступают заслуги течения свободомыслия, связанного с именем Радищева.

Радищев учился в Москве под надзором образованного француза, потом в Петербурге в Пажеском корпусе, наконец 5 лет за границей, в лейпцигском университете, где на него оказали влияние сочинения Лейбница и Платнера, Руссо, Мабли, Гердера, Гельвеция, также книги Стерна „Сентиментальное путешествие" и Рейналя „История двух Индий".

Радищев, в противоположность остальному дворянству, полон политического радикализма. Он высказывается за республиканское устройство, за отмену крепостного права, за провозглашение общих начал гражданской свободы для всех. Политическую реформу он желает ввести революционным путем, путем активного протеста самих обездоленных. Крепостное крестьянство должно само себя освободить путем восстания. Тиран должен быть свергнут, убит.

Мысли Радищева изложены в следующих его произведениях:

Мабли. Размышления о греческой истории. 1781 г. Перевод с добавлениями Радищева. Здесь вкратце изложено его политическое кредо.

„Беседа о том, что есть сын отечества", статья в журнале „Беседующий Гражданин" за 1789 г.

„Житие Ф. В. Ушакова", 1789 г
„Письмо к другу, живущему в Тобольске" 1790 г.
„Путешествие из Петербурга в Москву". 1790 г.
„О бессмертной душе". Сочинение, написанное в Сибири и изданное много позже.

Большинство сочинений Радищева было переиздано в 1906 году

Политический радикализм Радищева постепенно нарастает. К сочинениям коммуниста Мабли он прибавил и свой комментарий. Он заменяет термин „деспотизм" термином „самодержавие", объявляет последнее „наипротивнейшим человеческому естеству состоянием". У власти с обществом существует безмолвный договор В итоге всякий царь—только „первый гражданин народного общества".

В „Житии Ф. В. Ушакова" (сотоварища по заграничному периоду обучения) Радищев определенно высказывается против „самодержцев", даже наделенных личным достоинством. Радищев против налоговой тяжести и против войны вообще. „Ныне же не боятся правители народов прослыть грабителями, налагая на сограждан своих отяготительные подати, ни прослыть убийцами своей собратии и разбойниками, в отношении тех, которых неприятелями именуют, вчиняя войну и предавая смерти тысячи воинов".

В книжке „Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего" (1790)—Радищев удостоверяет, что цари добровольно никогда не уступают пяди своей власти. Главная историческая ошибка Петра, по Радищеву, что Петр не утвердил „вольность частную".

В главном своем сочинении „Путешествие из Петербурга в Москву" 1790 г. Радищев рисует мрачную картину нравов, смело ратует за освобождение крестьян, за полную свободу печати, за федеративный строй, за республику.

Екатерина нашла, что Радищев „надежду полагает на бунт от мужиков", ибо он высказал предположение, что крестьянам „свободы не от их помещиков ожидать, а от самой тяжести порабощения".

Кроме активного протеста самих крепостных, Радищев желал бы видеть на своей родине федеративную республику,

процветание наук, искусств и ремесл, свободу разума, свободу религиозную, равновесие властей, „равенство имуществ", признание за всеми гражданами права собственности на землю, умеренность наказаний, воспитание всего народа и „внутреннюю тишину", при отсутствии внешних врагов. Но вообще Радищев против собственности; он, следуя Руссо и Мабли, думает, что права собственности должны быть ограничены, но крестьяне при своем освобождении должны получить „удел в земле ими обрабатываемой". Его учитель Рейналь тоже считает собственность источником зла, но все же настаивает на законах, охраняющих для крестьян земельное владение.

Но главное зло, по мнению Радищева, коренится в крепостном праве. Все его „Путешествие" — сплошной вопль против крепостного права и крепостничества. Радищев против несвободы крестьян, будь даже все помещики „добродетельны". Радищев энергично убеждает сограждан оставить рабовладение. „Нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан", „к недостатку прокормления и одежд оно присовокупило работу до изнеможения". Крепостное право представляется Радищеву, как „чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй". Все это писалось вскоре после восстания Пугачева...

Из только-что потушенного пожара Пугачевского бунта, обнаружившего позорную трусость благородного шляхетства и всю глубину гнева народного, Радищев не вышел торжествующим усмирителем, вопящим о необходимости усилить строгость, наоборот, он один и, кажется, единственный человек в России, твердо стал на сторону угнетенного крестьянства.

И он считает, что проклятое рабство — тяжесть и для самих рабовладельцев. Последних он страстно заклинает освободить крестьян.

Радищев выясняет и оправдывает крестьянскую тупость и злость, мстительность и грубость, указывает на их неустанное стремление при всяком удобном случае вернуть себе свободу.

Он не идеализирует крестьянство, видит в крепостных не смиренных рабов, благословляющих своих господ, но нищую, голодную, озлобленную толпу, нуждающуюся в обычном человеческом сострадании и внимании, в нормальных, равных с остальными, правах на существование.

Высоко-гражданская постановка крестьянского вопроса ставит книгу Радищева на необычайную высоту и надолго делает ярким маяком в беспросветной тьме крепостнической эпохи.

Так же радикален он и в делах общей политики. Он первый решительно и смело высказывается за тираноборство. Об этой полосе его воззрений мы еще скажем ниже, пока же отметим, что он по этому вопросу—предтеча и декабристов и партии Народной Воли.

А. Н. Радищев получил свое философское и политическое образование в Лейпциге, в школе Платнера, т.-е. стал последователем так называемого критического индивидуализма монадологии Лейбница.

В своем философском трактате: „О человеке, его смертности и бессмертии" Радищев во всем следует „умственному исполину", как он называет Лейбница.

Вот слова Радищева о характере дней грядущего неизбежного переворота:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит,
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает
Над гордой головой царя.
Ликуйте, скованны народы!
Вот право мщения природы
На плаху возвело царя.

Так мечтает в своей знаменитой, все еще мало известной оде „Вольность"—в этом первом русском революционном произведении—Александр Николаевич Радищев, идейный предтеча декабристов. Он видит, как „лживая завеса" гражданской ночи „с треском мощно раздирается" и „как огромный истукан кичливой и строптивой власти попирается" восставшим народом.

Сковав сторучно исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ воссел,

и венценосный народ спрашивает своего подданного, вчерашнего тирана:

Преступник власти, мною данной,
Вещай, злодей, мною венчанный,
Против меня восстать как смел...

То же сделал в Англии и „коварный Кромвель“, „великий муж“, но „ханжа, льстец и святотатец“, который „свободу сокрушил“, но который все же велик тем, что

Научал из рода в роды,
Как могут отомстить народы,
Он Карла на суде казнил.

И в России должна пасть тирания, а с нею и неразрывно связанное „крепостное тиранство“. „Получить для всех вольность“—вот заветные мечты Радищева. Но в России борьба за лучшее устройство связана не только с политической борьбою против абсолютизма. Здесь нужно уничтожить два чудовища, два суеверия—политическое и религиозное. Одно подкрепляет другое. Радищев говорит:

Власть царска веру сохраняет,
Власть царску вера утверждает—
Союзно общество гнетут.
Одна—сковать рассудок тщится,
Другая—волю стереть стремится,—
„На пользу общую“—рекут.

Самодержавие царя сильно поддержкою церкви:

На грозном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.

Но Радищев верит, что настанет наконец

День, избраннейший из всех дней!—

„возникнет рать,—говорит он,—повсюду бранна“, народ осилит „алчного двухглавого гада“ и приведет его „к престолу, где народ воссел“. Самодержавие будет бороться. Оно „потщится“ вырвать с корнем зло революции и „грузным махом все раздавит, и стражу к словесам представит, да будет горшая напасть“. Но народ и это преодолеет. Народ, по мнению Радищева,

Сплетясь веселым хороводом,
Различия надменность снял,
Се паки под лазурным сводом
Естественный встает устав.

А естественный устав человека—свобода и равенство, их и приветствует Радищев из далекого от нас мрака дней Екатерининского царствования.

Воззрения Радищева—сложный комплекс взглядов и учений конца XVIII века

А. С. Пушкин ошибался, считая А. Н. Радищева учеником французских философов-материалистов, в частности Гельвеция. Философию Гельвеция Радищев знал, изучал, но и цитировал критически, так как он не был последователем французских материалистов. Только в вопросах о происхождении морали, которую материалистический сенсуализм выводил исключительно из закона самосохранения и из физиологических потребностей человека, Радищев примыкал к Гельвецию и Гольбаху.

Зато в области политики французское влияние на Радищева—несомненно. Конечно, это было не влияние отвлеченного Руссо или оппортунистически настроенного Монтескье, а влияние радикала и социалиста аббата Мабли.

Мабли был радикален в области экономии и, конечно, не разделял воззрений физиократов. Он считал, что их основоположение—признание земельной собственности с вытекающим отсюда социальным неравенством — представляет собою источник всех антиобщественных инстинктов. „Культура земли", полагал Мабли, не есть культура людей, а производство наибольшего количества ценностей не тожественно с созданием наибольшего количества счастья. Равенство имущества и национализация земли были социально-экономическими идеалами Мабли.

Но в то же время ни Радищев ни его друг Ушаков не разделяли коммунистических идей, или, вернее, останавливались перед ними в той же нерешительности, какая овладевала ими и в философии, когда они не знали, чему отдать предпочтение — идеалистическому „Федону" Мендельсона или сенсуализму Гельвеция. Но все же общая линия их мышления была определенно радикальная. Радищев проводил ее до конца, а поэтому-то судьба Радищева—тяжелый эпизод из истории первых дней русской общественности.

Радищев не был одинок. Ему сочувствовали, его читали, ему подражали. Для его времени очень типична история гвардейского офицера Федора Кречетова, писателя-пропагандиста, окончившего жизнь в Шлиссельбурской крепости[1]).

---

[1]) Корольков, М.: „Поручик Федор Кречетов, Шлиссельбургский узник XVII столетия". В журнале „Былое" за 1906 год, книга 4.

Кречетов—цельная натура, проводившая свои убеждения безбоязненно до конца.

Таким же целостным человеком был и Радищев в своих высказываниях. Политические его воззрения и отношение к крепостной России были вполне определенны.

Приведу пять выдержек из разных мест основного сочинения Радищева „Путешествие“:

1) „Зверский обычай—порабощать человека себе подобного, обычай диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и совершенное отсутствие души,—простерся по лицу земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, приняли обычай сей к стыду нашему, к стыду прошедших веков, к стыду разумности. Приняли и сохранили несокрушимо до сего дня“.

2) „Человек родится в мир равен во всем другому. Одинаково имеем члены, все имеем разум и волю“.

3) „Все равны от чрева матери в природе свободы, равны должны быть и в ее ограничении“.

4) „Опомнитесь заблудшие, смягчитесь жестокосердные, разрушьте оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусить сладости общежития, к нему же всещедрым уготованы яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются, одинаковые с вами у них члены и чувства, и право в употреблении оных должно быть одинаково“ („Путешествие“, гл. XV).

5) „Гражданин, в каком бы состоянии небо ему родиться ни судило, есть и пребудет всегда человеком“.

Так мыслит Радещев, душа которого „страданиями человечества уязвлена стала“.

Центром уязвления было крепостное право; к освобождению от него сводились все помыслы и все стремления Радищева.

6. Иван Петрович Пнин (1773—1805 гг).

Ученик и приятель Радищева—И. П. Пнин (Пнин, сокращенное от Репнин, которого он был незаконным сыном) в 1798 году основал свободомыслящий орган „Петербургский Журнал“, просуществовавший только год, что, впрочем, было

не мало по тогдашним цензурным условиям. С падением Павла в марте 1801 года Пнин пишет ряд философско-политических од, из которых одна—„Человек“—заслуживает особого внимания, помещает басни, стихотворения и статьи в „Журнале Российской Словесности“. Как поэт, он является звеном между Радищевым и декабристом Рылеевым.

В 1804 году Пнин выпускает свое основное сочинение: „Опыт о просвещении относительно России“. Автор полагает, что вопрос о просвещении есть вопрос социально-политический и притом основа государственного благосостояния. Цель последнего—„величайшее блаженство величайшего числа людей“. Для достижения этой цели и для распространения знаний необходимы некоторые предварительные элементарные права общественности, право гражданина на личную безопасность и неприкосновенность его частной собственности. Между тем крепостное право стоит в противоречии с нормальным политическим укладом.

„Там, где многомиллионная масса низведена на положение скотов, лишена собственности и самых простых гарантий неприкосновенности личного достоинства, там,—говорит Пнин,—общественное здание не имеет надлежащего основания, там все покрыто неизвестностью, все зависит единственно от случая. Одно мгновение—и общественного здания не станет. Одно мгновение—и развалины оного возвестят о действиях народных“. Либерал и утилитарист, последователь английского философа Бентама, Пнин не согласен с обще-дворянским афоризмом—„сперва просвещение, а потом раскрепощение“. Он думает, что, только защитив рабов от рабовладельческого произвола, можно им открыть путь к просвещению, поэтому крепостное право Пнин бичует и страстно и смело.

Вообще, свобода личности—вот что, по его мнению, лежит в основе нормального и политического и социального устройства. Признание ее прав должно стоять вне всякого рода национальных и сословных ограничений. Но „свобода“ вообще—по Пнину—анархия, „метафизическое понятие“, „исчадие французской революции“ (Пнин, Опыт, стр. 31). Личность свободная связана с обществом путем собственности; последняя—главный принцип права.

Равенства существовать не может: это—„исчадие раздоров“.

Признание ненарушимого принципа частной собственности ведет к признанию личной безопасности гражданина, а главное—к освобождению всех крестьян с землею (Опыт, стр. 33, 41, 51 и след.).

Другим ярким сочинением Пнина была его ода „Человек“, помещенная в № 1 „Журнала Российской Словесности“ за 1805 год.

Я человека петь готов.
Природы лучшее созданье,
К тебе мой обращаю стих,
К тебе стремлю мое вниманье...

Книга Пнина была конфискована и уничтожена. Ему поставили в вину изображение страданий крепостного крестьянства и требование отмены крепостного права.

Итак, политический либерализм из „шляхетского“, сословно-дворянского, становится о б щ и м. Общими правами гражданина нужно наделить не только избранных, а в с е х и бар и крестьян, или, вернее, не только бар, но и крестьян.

Таким образом на очереди становится вопрос о крестьянстве и крепостном праве. Освобождение рабов деревни—вот очередное дело. Наделение их землею—необходимейшее сопутствующее условие. Общая политическая свобода и освобождение крестьян мыслимы только при общем изменении режима, как итог переворота и революции. Эту задачу и ставят себе декабристы.

Так, мы видим, что политический радикал-одиночка—Пнин—только преддверие к движению общественному, к движению декабристов, к этому первому массовому общественному политическому радикализму, от кабинетных мечтаний перешедшему к революционному д е й с т в и ю.

Теперь ясно, что „д е к а б р и з м“ не был с л у ч а й н ы м э п и з о д и ч е с к и м я в л е н и е м, к а к е г о о д н о в р е м я и з о б р а ж а л и, это был вполне закономерный этап русского общественного развития и в то же время первая зарница последующих революционных настроений русского общества в недрах старого режима и уклада.

ГЛАВА VI.

НАЧАТКИ АГРАРНОГО КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ.

1.

Смена натурального хозяйства денежным отразилась в области аграрных отношений в замене барщины—оброком. Оброк приносил с собою возможность для землевладельца увеличить размер своих материальных средств. Как всегда, часть прибавочной прибыли, выколачивавшейся из крепостного труда, шла на расширение производства, но все же абсолютный размер ее был незначителен. XVIII век вносит в аграрные отношения существенные изменения с момента проникновения в русскую деревню сбыта на вывоз. Экспорт зерна и муки, льна и леса и других продуктов добывающей промышленности создал первый прилив золота из-за границы, положив тем самым реально ощущаемые основы аграрного капитализма.

Дешевый крепостной труд и наличность сырья дали возможность каждому крупному землевладельцу не только путем экспорта, но и путем переработки сырья и кристаллизации элементов труда собирать необходимые им средства. Местная переработка крепостным трудом местного сырья была основою для начавшей появляться с начала XVIII века сельскохозяйственной промышленности, одной из форм русской крепостной фабрики.

Таким образом внутри крепостного дворянского поместья создались предпосылки для возникновения двух основных отраслей русского капитализма XVIII века—аграрного и промышленного, интересы, а следовательно и идеалы которых были различны. Обе идеологии, ярко-буржуазные, в своем развитии послужили основою двух течений — протекционистского и фритредерского.

Крупное дворянское землевладение в течение XVIII века, особенно при преемниках Петра Первого, быстро окрепло и усилилось. Верхние слои его упорно тянулись к власти, создавая первые преграды для монархизма и стремясь захва-

тить и заменить собою центральную политическую власть. Они составили „верховный тайный совет", руководили и выполняли дворцовые перевороты, держали в своих руках ответственные и влиятельные места в администрации, в армии и при дворе.

Крепостной труд тысяч крепостных создавал прочную экономическую базу для растущего политического влияния новой сельской буржуазии. Она инстинктивно, как всякая буржуазия, искала путей к обогащению, к большим денежным средствам, к новым источникам материального благополучия. Средства—труд и сырье—были под руками. Все это вынуждало к простору в инициативе, к стремлению к большей экономической свободе, в конце концов—к фритредерской политике и вниманию к отечественному сырью и к прогрессу земледелия.

Эту новую экономическую платформу давал уже в эту эпоху главный экономический театр Европы—Франция.

В том же направлении вынуждена была сложиться и политика Екатерины II, опиравшейся на дворянских преторианцев, продолжавшей дело Петра—сближение с Европою путем торговли и торговых связей, и стремившейся к обогащению денежным путем. В итоге—физиократизм, идеология сельской буржуазии Франции, вполне назрел в эту эпоху и в России. Так укреплялись в России основы нашего аграрного капитализма.

2. Физиократизм в России.

Широкая полоса интереса к новым философским и юридическим воззрениям Монтескье, Руссо, Беккария, Дидро и Вольтера расчистила путь для знакомства с модным тогда в Париже физиократизмом, экономическим учением, синтезировавшим и новые достижения и новые воззрения в области хозяйства. Идеология сельской буржуазии — физиократизм, сменивший теперь, как и на Западе, меркантилизм—так же, как и этот последний, не имела представителя среди русских экономистов и писателей. У нас, правда, формально не появилось ни одного отечественного теоретика и ученого, которого можно было бы назвать русским физиократом, за

исключением князя Голицына, писавшего по-французски и не связанного с русскою жизнью. Забывая Голицына [1]), П. Н. Милюков мог сказать, что „чистых представителей физиократической теории в России не было, зато практических последователей было тысячи, к тому же и влияние прикладных выводов учения физиократов сказалось в первой половине царствования Екатерины II“ [2]). Но если теоретиков физиократизма у нас не было, зато физиократические интересы и настроения были налицо, первая — Екатерина. Симпатии Екатерины к физиократизму выразились в ряде законов и мероприятий, в Наказе, в ее сношениях с иноземными физиократами, в учреждении известного „Вольного Экономического Общества“, в заботах о создании у нас „третьего чина“ — третьего сословия, основы физиократической политики.

Во всем этом ясно отразилось новое течение мыслей, оплодотворяемых идеями физиократизма. Так, Екатерина уничтожила привилегии и монополии фабрично-заводских предприятий, отменила посессионный порядок их устройства и способствовала внедрению в России системы свободной конкуренции. Ее экономический либерализм отражается и на детище меркантилизма, на таможенной политике. Екатерина II вводит значительно отступающий от принципа протекционизма таможенный тариф 1766 г., тариф сравнительно либеральный. Следуя основной идее физиократизма — содействию земледелию, Екатерина учреждает первую в России вольную ассоциацию „благородных людей для изучения и распространения агрономических знаний“. Учрежденное ею в 1765 г. Вольное Экономическое Общество являлось событием большой исторической важности в деле последующего развития русской экономической науки вообще и сельскохозяйственных знаний в частности. Екатерина не только непосредственно содействовала организации, но и участвовала в первых шагах деятельности этого учреждения. Издание Наказа и отношение

[1]) Русский физиократ князь Голицын опубликовал: „De l'esprit des économistes ou les économistes justifiés d'avoir passé par leurs principes les bases de la revolution française“. Париж. 1796 г., 2 тома.

[2]) Милюков, П. Н.: Физиократы в России. Энциклопед. Словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXV, стр. 694. Спб. 1902 г.

Екатерины к Вольному Экономическому Обществу еще точнее указывает на настроение первых лет царствования Екатерины. Екатерининский указ (1767 г.) возвенчивает земледелие и свободу торговли. Впрочем, Наказ, к которому мы еще вернемся, нельзя назвать произведением физиократическим: в нем много оговорок и отступлений от воззрений Тюрго и Кенэ, а главное — отсутствует теоретическая мысль физиократов.

Как известно, Екатерина вскоре по вступлении на престол вошла в тесную переписку с Дидро и Вольтером, и у нас властителями дум той эпохи [1]). Она желала назначить философа Д'Аламбера воспитателем царевича Павла Петровича и перенести из Парижа в Россию издание знаменитой Энциклопедии [2]). Поклонница Монтескье, Вольтера, энциклопедистов, особенно Дениса Дидро, Екатерина не могла не пожелать ближе познакомиться с родственным энциклопедизму учением. И действительно, Екатерина пыталась вступить в непосредственное сношение с французскими физиократами, которые являлись как бы ветвью энциклопедистов — ее друзей и наставников. Одного из них, именно французского физиократа Мерсье де-ла-Ривьера [3]), она даже выписала в Петербург, хотя, услыхав и увидав этого ученого, она поспешила от него отделаться. Известно и ее отрицательное отношение к А. Н. Радищеву, который, будучи последователем коммуниста Мабли [4]), приближался по своим воззрениям к физиократизму.

Мерсье де-ла-Ривьер, хотя и был убежденным монархистом, но смотрел на социально-экономические вопросы иначе, чем петербургская Семирамида. Он нашел страну совершенно неустроенною, рабство крепостных — возмутительным, порядки — архаическими. Не обладая тою осторожностью, которую проявил приехавший несколько лет спустя после него его единомышленник Дидро [5]), Мерсье де-ла-

---

[1]) Д. Языков: Вольтер в русской литературе, статья в сборнике „Под знаменем науки", 1902 г.

[2]) Бильбасов. Дидро в Петербурге.

[3]) Основное сочинение физиократа Мерсье де-ла-Ривьера: „L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques", два тома, Париж, 1767 г.

[4]) О влиянии Мабли на Радищева см. А. Радищев: „Путешествие", изд. 1905 г.

[5]) См. Бильбасов: Дидро в Петербурге, Спб. 1884 г.

Ривьер, конечно, возбудил неудовольствие Екатерины, стремившейся маскировать либеральною декламациею хорошо известное ей положение вещей в стране. Физиократ и императрица друг другу не понравились.

Мерсье де-ла-Ривьер отрицательно взглянул на Россию с ее тяжелым и безчеловечным крепостным правом. В сохранившихся его двух письмах от времени поездки его в Петербург, т.-е. от 1767-68 гг., встречаются суровые отзывы этого непонятого тогдашнею Россией талантливого экономиста и философа в духе естественного права [1]).

„В России,—пишет он аббату Райналю в октябре 1767 г.,—все еще необходимо устраивать. Чтобы выразиться лучше, следовало бы сказать, что в России все необходимо уничтожить и затем вновь создать. Вы хорошо понимаете, что произвол деспотизма, абсолютное рабство и крайнее невежество глубоко укоренили всевозможные злоупотребления, ибо нет растения более плодовитого, более трудно искоренимого, чем злоупотребления. И они растут повсюду, где только их культивирует невежество". В другом месте того же письма М. де-ла-Ривьер пишет: „Культура земли находится в России совсем не в том положении, в каком она могла бы и должна бы быть. Потребление всегда служит соответствующим указателем производительности; но какое же потребление возможно среди рабов, которые не смеют ничего ни произвести ни показать, чтобы не привлечь к этому взора их господина?" Этим же де-ла-Ривьер объясняет скудость скота, жатвы и вообще всякого достатка у крепостных крестьян. „Вот почему,—говорит он, повторяя наблюдения Наказа,—между рабами распространен обычай прятать деньги, которые они только и могут приобрести, и уже только по этому одному деньги могут быть редкими в России" [2]).

Теперь выяснены отношения Дидро к Екатерине: последняя была лицемерна, фальшива, лжива с великим фран-

---

[1]) Они найдены и изданы В. А. Бильбасовым в приложении (1, 2) к его исследованию: „Дидро в Петербурге", Спб. 1884 г.

[2]) „Они закапывают,—говорится в Наказе,—в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтобы богатство не навлекло на них гонения и притеснения" (гл. XII, 276). Да и знаменитый Денис" (Дидро) взглянул на русские условия не снисходительнее, хотя их ему вполне сознательно извращали.

цузом. Ее известные ответы на его 88 письменных вопросов доставили бы удовольствие жрецам дельфийского оракула или отцам-иезуитам. С течением времени и внешняя маска почтения перед Европой исчезла у Екатерины, и она вернулась ко многим самодержавным идеалам в духе меркантилизма. Перемена в воззрениях Екатерины совершилась постепенно, но Пугачев и взятие Бастилии сделали ее реакционеркою. Уже в письме к Вольтеру Екатерина саркастически говорит о де-ла-Ривьере, что он „считал русских за четвероногих и очень любезно соглашался принять на себя труд поставить их на задние ноги". Правда, Вольтер сам высмеял лучшую работу этого физиократа: „L'ordre naturel des sociétés politiques" в бессмертной сатире „L'homme aux quarante écus"; правда, и де-ла-Ривьер сделал непростительную ошибку, искренне поверив либеральной декламации Екатерины, но все это уже предвещало скорый разрыв. Он наступил в следующем десятилетии, когда Екатерина жалуется на навязчивость непрошенных советников, развязно величает „экономистов" — как тогда называли физиократов— „дурачьем" и „крикунами". За критикою былых друзей наступила измена их принципам в практических мероприятиях. Прежде поборница свободы, Екатерина теперь стоит уже на скользком пути оправдания ограничений. „Я не сторонница запрещений,—пишет Екатерина, — но полагаю, что некоторые из них введены с целью устранения неудобств, и было бы неблагоразумно и опрометчиво их касаться". Вскоре вся экономическая политика Екатерины радикально изменяется в сторону охранительной и протекционной системы. Физиократизм был навсегда оставлен и забыт.

Но если опыт с де-ла-Ривьером был неудачен, то направление его идей все же, хотя и временно, не могло не отразиться на мировоззрении Екатерины. Было уже указано, что экономические идеи Наказа навеяны физиократами. К нему было добавлено и известное учение о необходимости для центральной власти поддерживать размножение народонаселения, которое было модно в популяционистике XVIII столетия.

Восхваление сельского хозяйства, как важнейшего фактора народного богатства,—этот основной девиз

физиократизма,—целиком отразилось и в Наказе „Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля,—гласит 293 статья Наказа,—где земледелие в уничтожении или нерачительно производится“ [1]). „Земледелие есть самый большой труд для человека“,—„земледелие есть первый и главный труд, к которому поощрять людей должно“, говорится несколько далее. Но земледелие не может быть успешным в старом аграрном, полу-коммунистическом строе. Только экономический индивидуализм, только частная собственность могут дать прочное основание для земледелия.

Это основное буржуазное положение, проникающее через все сочинения физиократов и особенно ярко формулированное одним из величайших индивидуалистов века, Мерсье де-ла-Ривьером, также всегда целиком поглощало Екатерину II. На эту принципиальную тему она назначает первую свою премию Вольному Экономическому Обществу; на этот же смелый и опасный, по мнению современников, вопрос [2]) она категорически отвечает в Наказе: „не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного“ [3]). Оставалось только укреплять этот принцип, хотя бы в виде защиты землевладения и земледелия.

Рациональными приемами к введению в России земледелия Екатерина считала „побуждение законом“, „награждение“ лучших земледельцев и издание правительством книг о земледелии, из которых каждый крестьянин „может во своих недоумениях пользоваться наставлениями“.

По вопросу о торговле, промышленности, машинах Екатерина уже не стоит на столь определенной точке зрения,

---

[1]) „Наказ“, глава XIII, стр. 101. Все цитаты, как настоящая, так и последующие, сделаны по прекрасному изданию „Наказа“ Л. Ф. Пантелеева, Спб., 1893 г.

[2]) Мы знаем из „Истории Вольного Экономического Общества“, составленной Ходневым, как подозрительно отнесся к теме Екатерины весь комитет и каких усилий стоило либеральной группе последнего добиться печатания некоторых работ, наприм., физиократа Барбье де-л'Абейля, представленных на соискание этой премии. Последний, между прочим, рекомендовал, вразрез общей политике, „дать свободу невольникам“.

[3]) Необходимость выбора между обеими формами землевладения занимала не одну Екатерину. В числе вопросов, предлагавшихся ей Дидро, имелся вопрос. „Отсутствие собственности у крестьян не ведет ли к дурным последствиям?“ (Questions et réponses, см. „Русский Архив“, 1880 г., кн. III, стр. 6).

а скорее на средней, примирительной, хотя и с явным предпочтением в сторону либерализма.

По важному вопросу о свободе торговли она уклончиво замечает, что „торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется тамо, где ее спокойствия не нарушают". Она высказывается в пользу уничтожения таможенных откупов и введения облегченной системы показаний „на вере", но признает необходимость таможни („где есть торги, там есть и таможни"). Ее таможенная политика и отношение к вопросу о свободе торговли и протекционизму выливаются в форму срединной позиции. „Государство,— говорит она,—должно держать средину между таможнею и торговлею и делать такие распоряжения, чтобы сии две вещи одна другой не запутывали: тогда наслаждаются люди вольностью торговли". По вопросу о свободе промышленности Екатерина придерживается той же „золотой середины". „О цеховых мастерствах и установлении цехов для мастеров по городам еще стоит великий спор: лучше ли иметь цехи по городам или без них быть, и что из сих положений более споспешествует рукоделиям и ремеслам?" Для России императрица предлагает следующий выход из дилеммы: „не то бесспорно, что для заведения мастерства цехи полезны, а бывают они вредны, когда число работающих определенно", т.-е., высказываясь формально за цехи, она желает лишить этот институт его основного нерва, монопольного захвата производства, достижимого только ограничением числа лиц, входящих в цехи. Так же осторожно говорится в Наказе и о новшестве, волновавшем ту эпоху, о машинах. „Махины, которые служат к сокращению рукоделия, не всегда полезны. Если что сделанное руками стоит посредственной (т.-е. недорогой) цены, которая равным образом сходна и купцу и тому, кто ее сделал, то махины, сокращающие рукоделие, то-есть уменьшающие число работающих, во многонародном государстве будут вредны". „Однако,—читаем дальше,—надлежит различать то, что делается для своего государства, от того, что (производится) для вывоза в чужие края".

Эта забота о „многолюдстве" государств, лежавшая в основе системы народного хозяйства у всех экономистов и

писателей XVIII века, инстинктивно искавших основы для создания прибавочной стоимости без труда рабочих, не исключая и нашего Ломоносова, очень сильна и у Екатерины. Здесь она целиком и без колебаний примыкает к тем взглядам, которые высказывали в XVII в.—Секкендорф, Конринг, Локк, Петти, в XVIII в.—Монтескье, Руссо и физиократы. В этом основном вопросе тогдашней экономии и статистики Екатерина разобралась основательно. Особая XII-ая глава Наказа специально посвящена вопросу о „размножении народа в государстве". Согласно господствовавшему взгляду, заботы об увеличении народонаселения признавались важнейшею задачею государства, которое принимало все меры для поощрения размножения, сохранения детей и проч. Вместе с тем ясно сознавалось, что размножение населения стоит в тесной связи с формою производства: „страны луговые и к скотоводству способные обыкновенно мало имеют народа потому, что мало людей находят себе тамо упражнение; пахотные же земли большее число людей в упражнении содержат и имеют". В этом замечании Екатерина шла в ногу с господствующими течениями в популяционистике по вопросу о соотношении народонаселения с формою производства.

Весною 1764 года были первые заседания нового Вольного Экономического Общества, которому Екатерина сама составила герб: улей и над ним 3 пчелы с надписью „Полезное", и подарила ценную бронзовую чернильницу с изображением улья. В том же 1764 году вышла в свет первая часть „Трудов Вольного Экономического Общества к поощрению в России земледелия и домостроительства". „При неусыпном старании всех просвещенных в Европе народов о приведении себя поправлением земледелия в лучшее состояние, что может быть,—спрашивается в „предуведомлении" первого тома „Трудов",—нужнее и полезнее, как к таковой же ревности побудить любезных сограждан наших?" И, не видя иного, более полезного, редакция „Трудов" развивает целый план „к ревности побуждения". Она ставит себе целью „все полезные и новые земледелия и экономии, чужестранными народами поныне изобретенные и опытами уже изведанные материи, прилежно сообщать любезным своим

согражданам", затем производить „собственные опыты" и „об успехах их народ уведомлять", и наконец „подробно узнать внутреннее состояние здешних провинций, открыть их недостатки и изыскивать полезные к отвращению тех недостатков средства". Последняя задача приводила к экономической анкете и к системе задания тем на премию, которые были вскоре введены в обиход Вольным Экономическим Обществом.

И первая тема и способ установки премии были очень характерны для всей эпохи. „Неизвестная особа" прислала 1 ноября 1766 г. в Вольное Экономическое Общество заявление „через подьячего ямской канцелярии от секретаря Языкова", что ею объявляется конкурсная тема: „В чем должна состоять собственность земледельца, в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то или другое для пользы общенародной имеет". Так осторожно и замаскированно был подан вопрос о положении крестьян. К заявлению „Языкова" была приложена тысяча червонцев. Общество не особенно охотно пошло навстречу желанию „неизвестной особы", и когда в его канцелярию поступило до 160 ответов на разных языках, из них семь русских, оно не нашло возможным ни печатать более радикальных из них, ни перевести на русский язык напечатанную по французски работу[1]) ахенского юриста Барбье де-л'Абейля, получившего первую премию. В вообще плохо сохранившемся архиве Общества и до сих пор хранится в рукописях некоторая часть поступивших ответов. Не были напечатаны мнения ученого Гросмана и страсбургского студента Поленова, писавшего по-немецки.

Не более практичны были и результаты первой анкеты. Программа этого первого русского экономического обследования была составлена членом-основателем Общества Т. фон-Клинштетом и носила название: „Экономические вопросы, касающиеся до земледелия по разности провинций". На нее последовали многочисленные ответы, иногда блестяще

[1]) Dissertation qui a l'emporté le prix sur la question proposée en 1766. Петербург. 1768. Об нем В. И. Семевский: Крестьянский вопрос в России в XVIII в. Спб.1888.

характеризовавшие отдельные провинции. Часть этих описаний провинций была напечатана, а часть до сих пор хранится в рукописях в забытом архиве Вольного Экономического Общества. И как мы смогли лично убедиться из дел последнего, шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы XVIII в. были временем большого оживления в деле европеизации многих сельских хозяйств. Мы приводим далее сведения о целом ряде писателей и произведений, выступивших в это время и положивших начало развитию русской агрономической литературы и тесно связанной с нею литературы по экономии сельского хозяйства.

3. А. Т. Болотов (1738—1833).

Первым русским писателем по вопросам сельскохозяйственной экономии был Андрей Тимофеевич Болотов (7 октября 1738 г.—7 окт. 1833 г.). Из его знаменитых мемуаров „Записки Болотова“ [1]) видно его деятельное участие в трудах Вольного Экономического Общества. Замечательную статью Болотова „О разделении полей“ [2]), где он восстает против рутинного трехполья и рекомендует модную в его дни мекленбургскую семипольную систему севооборота, можно считать первым русским оригинальным исследованием в области сельскохозяйственной экономии.

В 1778 и 1779 гг. Вольное Экономическое Общество, кроме „Трудов“, издавало еще „Сельский Житель“, первую русскую земледельческую газету; в ней Болотов являлся единственным сотрудником. После закрытия „Сельского Жителя“ Болотов, по приглашению знаменитого Н. И. Новикова, издававшего тогда „Московские Ведомости“, продолжал свое дело в приложении к „Ведомостям“, называвшемся „Экономический Магазин“ и выходившем с 1780 по 1790 г.

Болотов получил разностороннее, по тому времени, между прочим весьма солидное естественнонаучное и сельско-

[1]) „Записки А. Т. Болотова“, 3 т. Приложение к „Русской Старине“ 1870 г. 3 изд., Спб., 1875 г.

[2]) Болотов, А. Т.: О разделении полей Труды Императорского Вольного Экономического Общества за 1771 г., часть XVII, стр. 186

хозяйственное образование за границею. Время пребывания Болотова за границей совпало с началом того стремления к улучшению сельского хозяйства, которое во второй половине XVIII века охватило всю Западную Европу. Артур Юнг в это время еще не появлялся, и наибольшим кредитом тогда пользовалась выгонная система полеводства, дававшая прекрасные результаты в Голштинии и, по словам Маршаля, утроившая доходность земли в Йоркшире. В первой четверти XVIII века передовые хозяева Мекленбурга и Западной Пруссии начали уже вводить эту систему в своих имениях, но их попытки были встречены правительством и общественным мнением крайне несочувственно. Агрономические улучшения нередко идут вразрез с интересами крестьянства и мелких арендаторов; так оно было в Англии, где лэндлорды принялись за „огораживание" земель, так оно было и в Мекленбурге, где помещики начали сгонять мелких арендаторов, чтобы присоединить их земли к владельческой запашке. Мекленбургский герцог вступился за крестьян; тогда помещики, по словам Теэра, принуждены были действовать скрытно, „публично опорачивая" новую систему полеводства. Но после Семилетней войны обстоятельства резко изменились: война разорила крестьян и мелких арендаторов, вследствие чего у многих помещиков на руках осталось много земли, с которой они не знали, что делать. Тогда-то открыто заговорили о преимуществах мекленбургской системы полеводства.

„Вдруг начали замечать,—говорит Теэр,—что многие поместья, весьма истощенные трехпольным севооборотом и в коих год от году убавлялось количество навоза и запашки, посредством вновь принятой системы весьма поправились и начали доставлять гораздо большие урожаи". „Выгоды, получаемые из сего рода хозяйства,—продолжает он,—столь были очевидны, что начали эту систему почитать совершеннейшею из всех возможных, помещики тех стран поспешили воспользоваться правами своими над поселянами, чтобы соединить все свои пахотные земли и разделить их на клины. С сего-то времени начали только познавать истинную ценность земли".

Весь этот процесс происходил почти на глазах молодого Болотова. Поселившись в деревне, он продолжал следить за

ним по газетам и сельскохозяйственным сочинениям. Изучая „экономические сочинения", автор, по его собственным словам, всегда останавливал свое внимание на разделении полей и разнообразных способах пользования землею. „Признаюсь,—говорит он,—что сначала все эти способы казались мне неприменимыми к русскому хозяйству, но когда я внимательно их рассмотрел и исследовал все причины, мешающие применению их у нас, то пришел к иному заключению" [1]).

Результатом всех приведенных выше мыслей и сомнений явилась вышеназванная статья Болотова „О разделении полей" Изложенные в ней идеи он вскоре имел случай применить и на практике в одном казенном имении Московской губернии, но опыты его, по обстоятельствам от него не зависевшим, дальше выработки плана и первых шагов не пошли. Он не забыл своей системы и в последующие годы в своих журнальных статьях и заметках. Здесь же он впервые проповедывал о необходимости введения у нас травосеяния и о рациональном садоводстве [2]).

4. „Англинская" и немецкая системы сельского хозяйства.

Одновременно с появлением статей А. Т. Болотова начались переводы на русский язык иностранных агрономических сочинений, а с ними и пропаганда английской (или „англинской", как тогда говорили) системы хозяйства.

Первым был переведен труд англичанина Томаса Боудена: „Наставник земледельческий", вышедший в Москве, в 1780 году, в переводе московского профессора С. Десницкого [3]). Выбор страны и книги свидетельствует о сим-

---

[1]) Вернер, К. А. Текст к собранию портретов Московского Общества Сельского Хозяйства. Отдельные оттиски из журнала „Вестник Сельского Хозяйства". Москва, 1902 г.

[2]) Результатом пятидесятилетних занятий Болотова по садоводству был его обширный труд. по русской помологии „Изобретение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворенинских, а отчасти и в других садах". Значение этой работы ясно уже из того, что даже в 1861 году она была переиздана в „Журнале Садоводства".

[3]) Полное заглавие этой книги следующее: Томас Боуден. Наставник земледельческий, или краткое англинского-хлебопашества показание. В приуготовлении земли новым способом под хлеб, в посеве и удобрении разного хлеба разным образом, в поправлении сенокосных трав, с описанием различных их питательных свойств для скота, в содер-

патиях тогдашних людей науки к Англии; впрочем, англоманство Десницкого объяснялось и тем, что он слушал лекции у Адама Смита, в Глазго, в середине 60-х годов XVIII столетия. В Англию он был командирован московским университетом вместе с Третьяковым.

В обширном предисловии к книге Боудена С. Десницкий, восхвалив „земледельческое художество", рекомендует соотечественникам полное усвоение как общей постановки, так и системы сельскохозяйственной культуры в Англии. „В Англии,—пишет переводчик,—никаких препятствий политических земледелию теперь нет, и обрабатываемая там земля повсеместно отдана в торг, так что всякий желающий может иметь оную беспрепятственно, отчего вся Великобритания сделалась повсеместным почти пахотным полем".

Между тем в России в эту эпоху ни крестьяне, ни мещане, ни купцы не имели права покупки, а следовательно и продажи земли; земельная собственность являлась мобильною лишь в пределах дворянского сословия. Невмешательство государственной власти тоже, по мнению Десницкого, содействовало развитию земледелия в Англии. Цветущее положение земледелия в этой стране не зависит, как он утверждает, от „приставов и приказчиков", которых так ценят в России. У нас же, по его мнению, только тогда можно ожидать такого же успеха, когда „сами помещики предварительно по содержавшемуся в сей книге способу учинят опыты сперва на своих боярских землях", а потом уже на крестьянских. Вообще во всем русские должны, настаивает Десницкий, следовать англичанам. „Все земледелие,—говорит он,—производится в Англии добровольно, честно и с несказанным рачением, успехом и совершенством". На Англию, как на страну, которой необходимо подражать нашим крепостникам, Десницкий не устает указывать, осо-

---

жании лугов и паств по новому употреблению пахотные земли под сено, со многими к тому принадлежащими начертанными орудиями и поправлениями, каковыми вся сия книжка наполнена и издана на английском языке Томасом Боуденом, славным земледадельцем в провинции Кент, а переведена на российск й язык и притом из наилучших английских земледелий писателей приумножена и пополнена профессором Семеном Десницким в Москве, в университетской типографии, у Н. Новикова, 1780 г.

бенно ценя высокий социально-политический быт Англии. „Вольность и собственность, написанные на лице у всякого британца, как природные права, имеют законом предписанный предел, за который вредная наглость и своевольство пройти не могут". Для поднятия земледелия в России Десницкий рекомендует выписать все необходимые для земледелия орудия из Англии, а также и „фермера английского, коему отдать желаемое число десятин земли в кортому на семь или на девятнадцать лет, как то водится в Англии, дать и учеников для научения сим способом производимому хлебопашеству англескому". Менее состоятельным хозяевам Десницкий советует следовать непосредственно тем указаниям, которые содержатся в переведенной им книге Боудена [1]).

В следующем, 1781 г. появляется уже и русское оригинальное сочинение, рекомендующее „любезным соотечественникам" ту же английскую систему. Это небольшая книжка Андрея Симборского: „Описание практического англинского земледелия" [2]). Книжка Симборского выходила из того же кружка лиц, что и предыдущая: редакция Десницкого, типография Новикова.

Симборский не совсем основательно указал на английских писателей, как на источники своих сведений: он ссы-

---

[1]) Семен Тимофеевич Десницкий, как указано выше, высшее образование получил в Англии. По возвращении оттуда на родину в 1767 году со степенью доктора прав, Десницкий стал профессором московского университета по юридическому факультету. В конце февраля 1768 г. он составил проект государственного преобразования России и представил его Екатерине II. Проект Десницкого „Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской Империи" был впервые напечатан только в 1905 году („Записки Импер. Академии Наук", 8-я серия, т. VII, № 4, 1905 г.). В конце 60-х годов XVIII столетия Десницкий произнес четыре больших актовых речи, своевременно напечатанных. Темы его речей юридические, англофильские. Десницкий ссылается на Юма и Адама Смита, „Теорию нравственных чувств" которого он тогда собирался перевести. Кроме „Наставника земледельческого" Томаса Боудена (1780), он почти закончил предпринятый по повелению Екатерины перевод Блакстона: „Истолкование английских законов", три тома, 1780—1782. При учреждении Академии Наук (1783) Десницкий был избран в число ее членов. Скончался в 1789 г., пятидесяти лет от роду.

[2]) Полное заглавие: „Описание практического англинского земледелия". Собранное из разных английских писателей Андреем Афанасьевичем г. Симборским, протоиереем, находящимся при российском посольстве в Лондоне; изданное под смотрением г. профессора Семена Десницкого, в Москве, в Университетской типографии, у Н. Новикова, 1781 г.

лается на всех еще в средние века любимых агрономических писателей, как Колумелла или Плиний; среди же англичан руководителями его являются Гом (очевидно, Юм), Арбутон и, главным образом, знаменитый в ту эпоху Артур Юнг; попадаются ссылки на Линнея и „Лорда Бакона", т.-е. Франциска Бэкона Веруламского.

В книжке рассматриваются „общие примечания о землях", которые различаются по влажности, крепости и другим внешним признакам. За отсутствием сведений по агрономической химии, тогда еще только зарождавшейся, „неложные знаки качества земли" узнавали по „естественным произрастениям, напр., Тимиан или Чебер показывают хорошую землю для корма скотины, Буковица и Земляника означают землю угодную для лесов, Ромашка родится на рыхлой земле" и т. д. (стр. 11). Разобрав чернозем, суглинок, глинистую, „хрящеватую", песчаную, меловатую почву, автор переходит к доказательствам необходимости перемены растений в поле, что, по его мнению, вызывается разным строением их корней. Затем рекомендуется удобрение (навоз, мергель и зола) и разбираются культуры отдельных хлебов.

Итак, первою у нас пропагандируемою системою полеводства была система „английского" хозяйства, которою увлекались Десницкий, Симборский, Комов, Ливанов, Бакунин и другие наши агрономы того времени. Ее применяли и на практике в ряде крупных поместий. Английская система была системою без обязательного севооборота, но покоилась на одном правиле, а именно, чтобы при всех комбинациях, которые могли прийти в голову изобретательному хозяину, злаки чередовались с корнеплодами [1]).

Таким образом агрономическая наука заботливо развивала новые доходные преспективы для крупного дворянского

---

[1]) „Такое название прямо соответствует сути дела,—хозяйства этого типа были настоящими копиями с английских и шотландских ферм. Во главе хозяйства обыкновенно стоял англичанин, часто называющийся „фермером"; коренные улучшения почвы производились английскими рабочими; на полях работал инвентарь, либо выписанный из Англии, либо построенный по английским образцам; скот был английский. В с. Воронове (Подольского уезда, Московской губернии) возвышался даже обелиск, поставленный в честь Артура Юнга, а сын последнего в 1807 г. объезжал лучшие хозяйства для собирания хозяйственных и статистических сведений. Словом, все здесь напоминало Англию" (ср. Вернер, ibid., стр. 33).

землевладения. Наука становилась на службу влиятельного класса, стремившегося к извлечению прибавочной стоимости из новой комбинации старых, искони эксплоатируемых элементов.

5.

Вскоре „англинскую“ систему сменила система „немецкая“ с искусственным травосеянием. Дело началось с того, что после Боудена у нас переводился и рекомендовался немецкий агроном Шубарт фон-Клеефельд, прославившийся введением с севооборот клевера, за что он был возведен в дворянское достоинство, с прибавлением к фамилии „фон-Клеефельд“, т.-е. „клеверное поле“. Это была уже иная, не „англинская“, а „Шубертова“ или, как ее часто тогда называли, „Коппельная“ система земледелия.

С появлением в русском переводе книги Шубарта и Россия стала местом столь же шумной, хотя и весьма кратковременной пропаганды идей этого агронома. „Славный Шуберт“, „рыцарь клевера“, нашел у нас целый ряд поклонников, среди которых выделяется известный деятель того времени, генерал Егор Иванович Бланкеннагель, пионер русского сахарного дела. Бланкеннагель в начале 90-х годов побывал в саксонских имениях Шубарта,—в месте паломничества всех тогдашних прогрессивных хозяев,—и перенес систему Шубарта в Россию, где применял ее не только к своему, но и к крестьянскому хозяйству.

Труды Шубарта были, по свидетельству современников, настольною книгою каждого немецкого агронома, а его русский адепт, генерал Бланкеннагель, скоро заслужил то же уважение среди своих соотечественников. Наши старые агрономы очень ценили Бланкеннагеля. О нем с большим почтением упоминают тогдашние агрономические авторитеты: Рознотовский и Захаров. Рознотовский в своей книге „Новое земледелие“ называет Бланкеннагеля пионером Шубартовской системы в России. За Бланкеннагелем шел целый ряд подражателей: Ярославов, Поляков, Рознотовский, Всеволожский, Борисов, Угрюмов, Захаров и др. [1]).

[1]) Хозяйство самого Бланкеннагеля было описано в брошюре Захарова: „Усадьбы или новый способ селить крестьян и собирать с них помещичий доход“ (С.-Петербург, 1801).

В России Шубартовская система, т.-е. его севообороты, продержалась недолго. „Они вывелись под влиянием тех же соображений, как и в Германии: с одной стороны, новое учение о плодосмене не допускало следования двух колосовых хлебов друг за другом, а с другой—клевером стали пользоваться не один, а два года“ (стр. 25). Вообще же, по всей вероятности, севообороты Шубарта не удержались в силу появления так называемого „клевероутомления“, т.-е. полного истощения почвы клевером.

Необходимо упомянуть о другом апологете Шубарта, его переводчике Рознотовском, который издал в 1794 году в Москве книгу „Новое земледелие“ [1]).

„Нет истины,—говорит Рознотовский „любезным соотчичам“,—столь доказанной ученейшими мужами, как сия, что земледелие есть самый изобильнейший и существеннейший источник государственного и частного хозяйства“. Вообще же Рознотовский ратует за новое земледелие, более интенсивное, основанное на удобрении и содержании скота в стойле и введении травосеяния на пустовавшем ранее паре.

Помещик Дмитрий Маркович Полтарацкий пытался ввести у нас еще и третью систему—„сево-ральную“ или „рядо-полосную“ Она заключалась в применении машинного посева, при чем самая машина соединяется с плугом. Рядовая сеялка, изобретенная английским агрономом Куком, могла применяться и для злаков и для корнеплодов. Но его идеи оказались практически неосуществимыми.

Таковы все три первых наших направления в агрономии. Но ими литература не исчерпывалась. Так, перед Шубартом-фон-Клеефельдом переводился Герцель, а после Рогенбурк [2]). Книжка последнего совершенно бесцветное произведение, нечто вроде краткого элементарного учебника.

---

[1]) Андрей Рознотовский, московской придворной экспедиции член. Новое земледелие, основанное на правилах тайного советника Иоанна Христиана Шубарта фон-Клеефельда, изданных на немецком языке в Лейпциге 1786 года третьим тиснением. Москва (университетская типография), 1794 г.

[2]) Федор Рогенбурк: Руководство к земледашеству или славнейшие правила сельского хозяйства. Спб. 1792 г. Оно мало чем разнится от другого, более раннего, но отечественного произведения: „О земледелии писано Иваном Комовым, кол. ассесором, Московского Директора Экономии Помощником, земледелия и других наук профессором и пр.“ Москва, тип. Пономарева, 1788 г.

В самом конце XVIII века выступают еще два русских писателя—Ливанов и Левшин.

Михаил Ливанов в своей книге, вышедшей в 1799 году и посвященной Потемкину [1]), советует следующие приемы полеводства. „Раздробляй землю и приводи частицы оной до такой степени мелкости, чтобы растения корни между оными могли свободно расширяться и доставать себе питательные соки". Любопытно его определение земли: „земля в общем разумении есть такое существо, которое в воде распускается и мягчится так, что оное можно месить как тесто". Ливанов, помимо механической обработки („раздробляй землю" и пр.) рекомендует также удобрение ее. В круг рекомендуемых им удобрений входят: навоз, „меловая глина", известь и „все роды солей" (?).

Много более плодовитым писателем, чем Ливанов, был Василий Левшин.

Перу Левшина принадлежит целый ряд агрономических сочинений, из коих некоторые — громадные по своим размерам: „Словарь ручной натуральной истории", Москва, 1788 г.; „Садоводство полное", Москва, 1806; „Полное наставление, на гидростатических правилах основанное, о строении мельниц каждого рода: водяных, также ветром, горячими парами, скотскими и человеческими силами в действие приводимых, по которому каждый хозяин может то производить. Со многими рисунками в шести частях состоящее. Переведено с немецкого языка, с приложением особливого прибавления о разных новых изобретениях и прочих полезностях в хозяйстве", 6 т. Москва, унив. типогр., 1810—1811 гг.; „Книга для охотников до звериной и птичьей ловли", Москва, 1814 г.; „Русская поварня", Москва, 1816 г.; „Карманная книга для скотоводства", Москва, 1817 г.; „Огородник, удовлетворяющий всем требованиям до сего относящимся", Москва, 1817 г.; „Цветоводство подробное или русская флора", 2 ч., Москва, 1826 и друг.

---

[1]) Ливанов, М., проф. земледелия: О земледелии, скотоводстве и птицеводстве, в Николаеве, 1799 г.

Все работы Левшина—простые безыдейные компиляции, подходящие к типу тех руководств, которыми позднее снабжала Никольская улица хозяев-„практиков“ наших глухих медвежьих углов. Вместе с тем на „трудах“ Левшина видно, что в первые два десятилетия XIX столетия интерес к сельскому хозяйству отошел на второй план, уступив место другим симпатиям и задачам.

Кроме теоретиков, в эту же эпоху стали известными и некоторые сельские хозяева-практики. Таков уже упомянутый Бланкеннагель. Затем в начале столетия обращают на себя внимание агрономы: англичанин Роджерс, граф Ф. В. Растопчин и проф. А. А. Прокопович-Антонский [1]).

Параллельно с научными изданиями тогда же началась работа по популяризации сельскохозяйственных знаний. Эта популяризация производилась в духе того времени с образным морализированием, с нравоучительными диалогами между добродетельными Правдиными, Мудромысловыми и Кривдиными, Обмановыми, Свиньиными и проч. Такова написанная в фонвизинском духе книга „Деревенское Зерцало или общенародная книга, сочиненная не столько, чтобы ее читать, но по ней исполнять“ [2]).

В „Деревенском Зерцале“ добродетельный помещик Честак подробно наставляет своих крестьян во всех необходимых им предметах. Книжки подобного рода, очевидно, имели успех, так как в списке имен „особ, подписавшихся на эту книгу“, я нашел требование свыше 225 экземпляров, т.-е. количество значительное для того времени.

Итак, последняя четверть XVIII в. является у нас начальным временем как развития специальных агрономических сведений, так и пробуждения интереса к тем общим вопросам, которые входят в область начинавшей зарождаться в России экономии сельского хозяйства. Последующее Александровское царствование мало подвинуло дело, начатое

---

[1]) О них у К. Вернера: Текст к собранию портретов. М, 1902 г.

[2]) Издание Вольного Экономического Общества, Спб. 1898 г. Это извлечение из большого рукописного труда, хранящегося, как мы убедились, и поныне в Архиве В. Э. Общества и представленного в свое время на премию. Как рукопись, так и напечатанная под вышеприведенным заглавием ее часть снабжены наивными рисунками с подписанными под ними нравоучительными стихами.

при Екатерине. Писатели, как Левшин, не шли дальше практической рецептуры и страдали полным отсутствием общих мыслей, общего синтеза и общих горизонтов.

К тому же появление смитианства на некоторое время оттеснило интерес к вопросам земледелия и сельскохозяйственной экономии. Этот интерес проснулся несколько позже в Москве, где вокруг основавшегося в 1818 г. Московского Общества Сельского Хозяйства сгруппировался ряд талантливых писателей и деятелей, как Маслов, Павлов, Шелехов и др.

6. Отец агрономии Теэр и Московское Общество Сельского Хозяйства.

Деятельность Московского Общества Сельского Хозяйства, в связи с появлением в русском переводе знаменитой книги отца агрономической науки, Теэра, отделяет первый, так печально кончившийся период пробуждения интереса к сельской экономии от новой эпохи, когда свет науки и более рациональная культура проникают в сельскую Россию. Вместо маниловщины и узкой прописной морали „Деревенского Зерцала“, вместо советов слепо подражать Англии и удобрять землю „всеми солями“, появляется осмысленное понимание научных основ земледелия и практическое применение их на родной ниве. Правда, „новое“ еще ряд долгих лет будет достоянием „верхних десяти тысяч“, но все же одна из труднейших задач будет сделана: добыто знание. И отныне вопрос уже сводится не к тому, что именно нужно сделать, а к тому, как сделать доступными для масс все те приобретения, которые уже давно являются достоянием привилегированных культурных одиночек.

Московское Общество Сельского Хозяйства, придерживаясь теоретических взглядов московских профессоров университета, само должно было, в противовес Петербургскому, развить исключительно практическую деятельность.

Появлением знаменитой и, как говорят специалисты, не утратившей и до сих пор своего значения книги Теэра русская сельскохозяйственная экономия обязана С. А. Ма-

слову [1]). Он перевел знаменитый многотомный труд Теэра: „Об основаниях рационального сельского хозяйства" (М., 1830), который М. Н. Муравьев снабдил обширными примечаниями. Руководство это долго было единственною настольною книгою передовых сельских хозяев.

В эту эпоху прогрессом сельского хозяйства признавались — переход к травосеянию, искусственному удобрению, плодосменной системе, к изучению своей почвы и флоры.

Переход от трехполья к плодопеременному полеводству стал мечтою всех прогрессивных сельских хозяев. В посвященной этому вопросу книге Людвига Фишера, вышедшей в 1824 г.[2]) и одобренной авторитетным „Земледельческим Журналом"[3]), приводился ряд образных примеров и указывались практические приемы для этого перехода.

Но рациональная постановка земледелия, как известно, немыслима без естественнонаучной основы. Много нужно было пережить нашей агрономии, пока она дошла и осуществила это положение; впрочем, горячо написанная небольшая статья — доклад врача Михаила Павлова „О теории и практике в сельском хозяйстве"[4]) дает ценное указание на высоту понимания в 20-х годах затронутого вопроса. В так называемой „практике" Павлов видит только рутинное повторение из года в год „через целые столетия и без малейшего рассуждения" тех же самых приемов, а следовательно, „без всякого помышления об усовершенствовании сельского хозяйства". Между тем необходимо научное знание агрономии.

Тот же Павлов в статье „О побудительных причинах совершенствовать сельское хозяйство в России" („Земледельческий Журнал" за 1823 г, кн. VIII) горячо отстаивает преимущества сельскохозяйственной промышленности перед другими отраслями народного хозяйства, мотивируя, в духе

---

[1]) Деятельность Маслова не ограничилась переводом Теэра, — хотя и это одно уже было, особенно по тому времени, большою заслугою, — он много писал в „Земледельческом Журнале", где излагал научные приемы особенно отсталой у нас сельскохозяйственной техники.

[2]) Людвиг Фишер: Начертание руководства к плодопеременному хозяйству, с показанием примера перехода к оному от трехпольного, перевод с немецкого, 2 ч. Москва. Типография Селивановского. 1823 г.

[3]) „Земледельческий Журнал", кн. VII за 1823 г, стр. 123.

[4]) Там же.

физиократизма, тем, что сельское хозяйство „превосходит все средства, служащие к составлению богатства“, и что „имущества искусственные получаются уже из естественных, т.-е. первичных“.

Но „сельское хозяйство находится еще в младенчестве“. Как же поднять его на надлежащую высоту?

„Мечтатели,—говорит Павлов, как бы намекая на течения, вылившиеся позднее в декабризм,—поставляют высоту оной в том, чтобы и последний из простолюдинов рассуждало политике“, но „ужасные события, за образованностью сего рода в небольшие времена последовавшие, ясно показывают неестественность оной“, поэтому образование простолюдина „должно состоять в надлежащем разумении дела своего знания“, т.-е. в сельскохозяйственном образовании. Последнее же целиком покоится на естествоведении. Из практических мер Павлов рекомендует „землеудобрение и плодопеременье“.

Другой автор прибавил к этому „уничтожение неразмежеванных и чересполосных владений“ и осушение и орошение почвы. Лучшим из многочисленных трудов Павлова считается „Курс сельского хозяйства“.

Другим известным агрономом был Шелехов, тверской помещик, написавший популярную книгу „Народное руководство в сельском хозяйстве“. Он читал публичные лекции в Петербурге и издал несколько специальных агрономических сочинений. Среди них видное место занимают „Главные основания земледелия“, М. 1826 г. Здесь Шелехов находит, что при заметном общем росте экономического успеха России отечественное земледелие остается неподвижным. Считая одною из причин последнего невежество, он предлагает желающим присылать к нему на лето в поместье молодых крестьян для обучения управлению земледельческими орудиями. Но основною идеей его была пропаганда плодопеременного хозяйства и уничтожение нашего рутинного трехполья.

Перелом в теоретическом мировоззрении не мог, в конце концов, не отразиться и на практике. Но реформа русского помещичьего хозяйства,—а оно только, и то в лучшей своей части, было доступно реформе,—произошла позднее,

а именно в 20-х годах. В то время, когда на общественной арене героическое политическое движение, не опираясь на реальные силы, не имело практического успеха, незаметный глазу, но глубокий и чреватый последствиями экономический переворот, который происходил в русском народном хозяйстве, не мог быть остановлен никакой внешней силою.

В следующей эпохе, в 40-х и 50-х годах русская сельскохозяйственная наука уже совершенно выбилась на правильный научный путь. Таков был результат толчка, данного в свое время физиократизмом. Можно допустить, что и воззрения декабристов могли находиться под некоторым влиянием физиократов, особенно в области аграрного вопроса. Но во всяком случае Пестель, знавший уже Адама Смита и Сисмонди и высказывавший радикальные взгляды на аграрные отношения [1]), под влиянием физиократов уже не мог находиться [2]).

Итак, мы видели, что физиократизм, как определенное экономическое учение, имел успех не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. Первая стройная экономическая теория,—воззрения физиократов,—не оставалась только новым явлением в области теории: она имела и несомненный, хотя и кратковременный, практический успех. Основанием последнему являлись в конечном итоге две причины: назревшая реакция против устарелой политики меркантилизма и соответствие многим новым требованиям жизни, шедшей вперед быстрыми шагами. Физиократизм расчищал путь надвигавшемуся торжеству индивидуализма, пока только в области сельского хозяйства. Углубить и завершить эти растущие буржуазные тенденции пришлось уже новому поколению—школе Адама Смита или школе классической, органически развившейся из новых условий русской жизни.

Параллельно с буржуазными идеями в эпоху Екатерины II, в Россию, между прочим, проникли в XVIII веке и идеи радикальные. Но это были течения не главные,

---

[1]) См. Семевский, В. И.: Политические и общественные идеи декабристов. Спб. 1909 г., стр. 627 и след.

[2]) Так ошибочно указывает, напр., проф. А. Миклашевский: „История политической экономии", Юрьев, 1909 г., стр. 160 (сноска).

а побочные, мелкие, невлиятельные струйки. Новиков и Радищев первые внесли новые ноты в мировоззрение. В то же время впервые начинает развиваться в России и утопический элемент, также добавочный продукт тогдашней европеизации.

7. Утопизм XVIII века.

Первым русским сочинителем утопий был князь М. М. Щербатов (1733—1790), написавший утопию на основе условий тогдашней русской жизни.

Утопия Щербатова „Путешествие в землю Офирскую" представляет собою облагороженную и смягченную картину русской действительности Екатерининской эпохи. Воззрения и симпатии автора играют для понимания этого произведения исключительную роль.

Щербатов политически, для своего времени, довольно либерален; он стоит за ограниченную монархию. Права самодержца должны, по мнению Щербатова, ограничиваться феодальным („родовитым") дворянством, являющимся основным классом в государстве. Щербатов—откровенный идеолог этого класса, примыкающий в общем к английскому конституционализму. Щербатов находится под общим влиянием Руссо, у которого он заимствует, впрочем, одни только физиократические симпатии и настроения. Социальный радикализм Руссо чужд Щербатову. Поэтому Щербатов, в конце концов, крепостник и реакционер в экономическом смысле, он представитель определенного класса — крупных помещиков.

При таких данных — политическом либерализме и экономическом консерватизме — Щербатов, что редкость в ту эпоху, человек прямой, с твердыми убеждениями и самостоятельными взглядами, которые он умеет и проводить, и отстаивать. При этом Щербатов вполне усвоил политические и философские идеи тогдашних авторитетов Западной Европы, но, усваивая и перерабатывая их, Щербатов вносит в них национальный уклон и переработку в том духе, который диктует ему русская действительность XVIII века. От последней он не отворачивается, а относится вдумчиво и

сознательно, приспособляя к ней западные просветительные идеи. Он выбирает из богатого европейского арсенала только нужное и целесообразное с его точки зрения. Сочинения Щербатова разнообразны, темы своевременны и интересны, тон страстный и убежденный, часто смелый и резкий. Он не льстец и не искатель, а гражданин-патриот, что само по себе уже было много. Говоря о самом себе, он признавал и некоторое нетерпение и чувствительность к тягостям ближнего, но оправдывал их „любовью к отечеству“ и отсутствием „подлого раболепствования“. Щербатов скорбит об участи русского гражданина, который „влачит тягость жизни своей, не имея ни твердых законов, ни знающих правителей, ни чинов управления, достаточною силою снабженных“...

Жизнь, честь и имущество русского гражданина „не более в безопасности, чем слабая лодка без руля среди моря. Несть ни правила, коему мог бы последовать, ни пристанища, где бы узрел свое спасение“.

Такой порядок, или, вернее, беспорядок, по мнению Щербатова, в корне противоречит действительным задачам государства, которое должно охранять естественные права каждого гражданина, содействовать осуществлению „общего блага“, так как только для достижения этой цели „люди уступили часть своей свободы и своих выгод, дабы другими частями безопасно пользоваться“.

Для осуществления своего политического идеала Щербатов не требует, как европейские утописты, ни равенства всех перед законом, ни уравнения в привилегиях, ни имущественного коммунизма. Щербатов отстаивает и неравенство, и частную собственность, и индивидуальную инициативу. Из общей массы народа он выделяет одно только родовитое дворянство, которому и поручает „заботу об общем благе“. Кроме политических привилегий, Щербатов стремится наделить этот класс и всеми экономическими преимуществами, заботясь о поддержании и сохранении только одной „родовитой породы“. Естественно, что Щербатов против освобождения крестьян от крепостной зависимости и сознательно отдает их под опеку дворянства. С такого рода строго-классовыми воззрениями Щербатов и подошел к созданию своей

утопии. Ее название—„Путешествие в землю Офирскую“. Рассказ ведется от имени „господина С., Швецкого дворянина“. Написано „Путешествие“ в 1783—84 году, то-есть накануне Великой Французской Революции. Это сочинение долго оставалось в рукописи, как и вообще многие из работ Щербатова, несомненно, по условиям цензуры. Распространялось ли „Путешествие“ в рукописных копиях, мне неизвестно. В Офирской земле нет международной торговли и международных отношений; страна замечательна „мудрым правлением, в котором государственная власть сообразована с народною пользою“. Здесь „вельможи имеют право со всею приличною смелостью мысли свои монарху представлять, ласкательство прогнано из царского двора, и истина имеет во оный невозбранный вход“, здесь—„законы сделаны общим народным согласием и беспрестанно исправляются и улучшаются“. Правительственных чиновников и дел у них немного, вельможи, как и простонародие, „не пышные, несластолюбивые“, а искусны, добродетельны и трудолюбивы. На первом месте в стране стоит добродетель, затем почитают закон, а уже после царя и вельмож. В столицу этой страны „Перегаб“ шведский дворянин С. попал в 1774 году, когда она была уже частью в развалинах. Перегаб—это Петербург, Офирия—Россия, но с более скромным образом жизни. История Офирии—русская история, словом, аналогия полная и несомненная.

Во главе Офирии стоит наследственный монарх. Он влияет на законодательство, впрочем, по мнению Щербатова,—„неудобно для сочинения законов“. Жители Офирии добродетельны, скромны и умеренны. Внешняя жизнь без всякой роскоши. Строения и города просты. Лошадьми не пользуются. На улицах экипажи тащут быки. Нигде и ни в чем нет ни „пышности“ ни „великолепия“. Спиртные напитки неизвестны. Взаимоотношения просты и добродетельны. Законы мягки и снисходительны. Судопроизводство гласное и скорое.

Главное занятие жителей—сельское хозяйство Вообще физиократические настроения—основные построения Щербатова; но все же он не физиократ. Щербатов—идейный враг города, он, как и все последователи Руссо, считает город

источником „повреждения нравов". По его мнению, города должны быть разбросаны определенною сеткою (с расчетом доехать до каждого из них из любого медвежьего угла в два-три дня), и прямое их назначение — усиление темпа внутренней торговли. Последней должна помогать промышленность, которая в Офирии процветает.

Учение связано с религиозным воспитанием, жрец храма в то же время и учитель. „Каждый поселенский сын, достигший пяти лет, должен во всякую неделю ходить в училище, по три дня (очевидно, в неделю) на целый день в зимние месяцы". Учение бесплатно. Учатся оба пола, но в отдельных училищах. Всех обучают „катехизисам нравственным и гражданским", текст которых тут же и приводится. Религия офирцев — теизм, чего и надо было ожидать от просвещенного вольтерьянца. „Мы, люди, твари, одаренные разумом", заявляет Щербатов. Жертва Высшему Существу „сердце чистое". В утопии приводятся тексты молитв и порядок богослужения. Подробно регламентируются имущественные отношения при браке. „Главный трибунал благочестия" наблюдает за нравственностью и супружескою жизнью. Измена не допустима и наказуема. Богохульники объявляются сумасшедшими. Особые заботы вызывает попечение о здоровьи, безопасности и спокойствии офирцев. Роскошь и обжорство — главные пороки, их надо „убегать".

Утопия прерывается в начале обстоятельного описания разных „знатных" присутственных мест столицы, числом свыше 30, которые „швецкий дворянин г-н С." должен был посетить.

Изменяя основному настроению каждой утопии — ее п о л я р н о с т и д е й с т в и т е л ь н о с т и, утопия Щербатова не изобразила что-либо противоположное существовавшему в его время в России строю, т.-е. республики или коммунистической организации. Автор — помещик, националист, патриот, западник, к тому же критически воспринимающий западное. Поэтому основы политического и социально-экономического уклада Офирской земли те же, что и в тогдашней Екатерининской России: хотя умеряемый, но все же „монархизм", „деспотичество", сословность с определенным преобладанием дворянства, феодально-земледельческий строй хозяйства, осно-

ванного на частной собственности. Как дань утопии, отчасти воспринимаемой с Запада—смягчение и попытка облагородить старый, давно знакомый остов императорской крепостной России с ее бесправием и самодурством. Идеи Руссо, Вольтера и моральных тезисов масонства смягчают в настроении Щербатова острые углы действительности. Она окутана облагораживающими идеями умеренности, гуманности, подчинения личности гражданскому долгу. В угоду этим воззрениям в Офирии отсутствуют самовластие „деспотичества", беззаконие и леность, роскошь и мотовство, „цезарепапизм", а также откупа и водка, иноземная торговля и регулярные войска с рекрутскими наборами и растлевающею казарменною жизнью. Функция „охраны отечества" предоставлена военным поселениям,—сколку с казачества, т.-е. прообразу той несчастной идеи, которая много лет бродила в умах правителей России, пока не привела к Аракчеевщине.

Кроме „Офирии" Щербатова образованный русский читатель в XVIII веке имел в своем распоряжении значительное количество утопий, русских и переводных. Это—полу-политические романы, цель которых—морально-политическое поучение, дидактика. Они выросли из того общественного настроения, которое ярко сказалось во Франции в конце царствования Людовика XIV. Богатое всевозможными опытами, это правление кончилось крахом. Объяснить причину этого краха пытались и проповедники и писатели. Впереди других в этом смысле стоят аббат Фенелон и Монтескье, которых усердно переводят и охотно читают в России. К этой же группе относятся сочинения английских утопистов Рамзая и дидактический роман Террасона, а также „Велизарий" Мармонтеля. Авторами русских утопий XVIII столетия, кроме Щербатова, были: Михаил Матвеевич Херасков, Павел Юрьевич Львов, Федор Эмин, Василий Алексеевич Левшин, Михаил Дмитриевич Чулков, Федор Иванович Дмитриев-Мамонов, „однодворец" Захарьин [1]).

Михаил Матвеевич Херасков (1733—1807) написал три утопии в духе Фенелона: 1) „Нумаили процве-

[1]) Краткое содержание написанных ими утопий изложено в работе: В. В. Святловский. „Русский утопический роман". Петроград (Гос. изд.) 1922 г.

тающий Рим". Москва 1768 г; 2) „Кадм и Гармония", древнее повествование. М. 1786 г., и 3) „Полидор, сын Кадма и Гармонии". М. 1794 г. Херасков, следуя Платону, стремится изобразить „благополучное состояние общества".

Херасков—руссоист, но на тот особый русский лад восприятия Руссо, который был свойственен русскому дворянству: от Руссо брали только сентиментальное влечение к сельской идиллии, восторженное влечение к природе и поэтизацию первобытного уклада жизни. Социальные идеи общественного договора усвоялись слабо, а эгалитаризм понимался лишь как равенство членов благородного шляхетства между собою. Поэтому и у Хераскова бледная политическая мечтательность сочеталась с экономическим реакционерством. В первых двух романах Хераскова чувствуется какое-то общее стремление к политической свободе. Но в своем третьем романе „Полидор" автор определенно становится на сторону политической реакции. Это результат разочарования дворянства Великой Французской Революцией.

Павел Юрьевич Львов (1770 — 1825) во II части „Российской Памелы" дает картинки патриархальной жизни, основанной на мудром монархическом правлении, в итоге чего народ „счастлив и благоденствует". По духу времени, граждане этой страны добрые и нравственные дикари, островитяне. „Нет там богачей и нищих, нет огорченных и обиженных".

Федор Эмин (1735 — 1770), „кабинет-переводчик" императрицы Екатерины II, писатель, автор ряда романов: 1) „Непостоянная фортуна", 2) „Письма Эрнеста и Даравры", 3) „Приключения Фемистокла и разные политические, гражданские, философские, физические и военные его с сыном своим разговоры". Спб. 1763.

Эти сочинения составлены под влиянием Руссо, Локка и Фенелона. „Новая Элоиза" Руссо легла в основу его романа „Письма Эрнеста", Фенелон повлиял на приключения Фемистокла.

Эмин, в отличие от других утопистов, проникнут публицистическим настроением, но экономические идеалы его сбивчивы. Как поклонник Руссо, он восхваляет земледелие

и сельскую идиллию; как человек, побывавший в Англии, он преклоняется перед английскою торговлею и купечеством. „Купечество,—уверяет Эмин,—душа государства и города—польза и украшение". В этом он сильно напоминает свою покровительницу Екатерину II, которая в двух своих сочинениях: „Antidote" (1770) и „Сказка о царевиче Хлоре" (1781) идеализировала сельский быт, а в „Наказе" подготовляла почву для развития среднего сословия и торговли, в чем она так же, как Эмин, видела процветание государства. Эмин выгодно отличается от Екатерины своими симпатиями к угнетенному крестьянству.

Василий Алексеевич Левшин (1746 — 1826) пишет „Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве" (1784). Левшин находится под сильным влиянием Монтескье. Его утопия, подобно утопии француза Сирано-де-Бержерака, помещается на луне. Здесь быт патриархален, без писанных законов и „самовластия" царей. Занятие жителей, живущих одною общиною в громадных общих зданиях,—земледелие и скотоводство. Недостатки и пороки лунных жителей типично-земные—суетность, лживость, суеверие и плутовство.

Михаил Дмитриевич Чулков (1740—1793) в романе „Пересмешник". М. 1789, тоже изображает лунных жителей, но живущих коммунистическим устройством. У жителей Луны „все было общим".

Утопия Федора Ивановича Дмитриева-Мамонова (1728—1790) носит название: „Дворянин философ", аллегория. М. 1769, напечатана как приложение к переводу романа Лафонтена „Любовь Психеи и Купидона". 2-е издание вышло в 1796 году в Смоленске. Это произведение—скорее философская сатира, чем социальная утопия. Она изображает скитание жителя земли по планетам, т.-е. обратно тому, что делает Вольтер, когда житель планеты Сириус путешествовал по земле. Автор рассматривает общие отношения людей между собою и судьбы человека на земле. Замысел и форма трактования сюжета в духе Вольтера—это „Микромегас" навыворот. Хотя Дмитриев-Мамонов—последовательный вольтерьянец, но саркастическая веселость фернейского мудреца вытеснена безысходным пессимизмом. Русское вольтерьянство—мрачно и безнадежно.

Масонски настроенные тогдашние небольшие кружки молодой русской интеллигенции охотно читали утопическую литературу как свою оригинальную, так и переводную. Из переводных утопий у нас в то время читали утопии Томаса Мора, Фенелона, Гольберга, Рамзая, Галлера и Джона Берклея.

ГЛАВА VII.

УКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА.

1. Классическая школа (смитианство).

Физиократические тенденции продержались у нас до начала XIX столетия, т.-е. дольше, чем на Западе, где учение Адама Смита очень быстро вытеснило воззрения Кенэ и Тюрго. Чтобы понять медленность этой смены в России, надо вспомнить условия того времени. Жизнь шла медленным темпом. Хотя пресса и почта уже почти правильно функционировали, но с достаточной быстротою распространялись одни придворные и политические новости и сплетни. Все же новое в сфере науки, литературы или искусства часто подолгу оставалось неизвестным маленькому интеллигентному мирку тогдашней России. Поэтому нет ничего удивительного, что и величайшее экономическое творение того времени—система Адама Смита—в целом своем виде долгое время оставалось у нас неизвестным. Его основной труд, появившийся в Лондоне в 1776 году, стал доступен русскому впервые только спустя четверть века, период времени, если вспомнить силу всеобщего увлечения и значение для эпохи Смита,—не малый. За этот срок в самой Англии уже вышло пять изданий одного смитовского текста, да несколько с добавлениями других экономистов [1]), а на континенте появился ряд переводов на другие языки. В журналах и курантах, в альманахах и ведомостях конца восемнадцатого столетия не только не содержится изложения

[1]) Лучшим в эту эпоху считалось трехтомное издание William'a Playfairs'a с примечаниями и краткою биографиею А. Смита. Лондон, 1805 года.

основных мыслей замечательного творения „великого шотландца", но нигде нет упоминания самого имени Адама Смита. Оправданием „любознательных россиян" служит их исключительное внимание к Франции, к ее блестящим, красноречивым и популярным философам и к тому грандиозному зрелищу, которое являла миру невиданная эпопея Великой Революции и которое долго заслоняло собою все интересы. Но то, что оправдывало общество, не может быть простительно для ученых академии, всех этих дорого стоивших немцев, выдававших себя за „кладезь учености". Они ничего не говорили о Смите, хотя труд Смита был для тогдашнего времени тоже немаловажным явлением и в своей области производил революционный переворот.

Учение А. Смита в систематическом виде стало в России доступно лишь в 1804 году, т.-е. со времени перевода его „Исследования" на русский язык. До того же времени взгляды Смита, и притом лишь некоторые, были доступны лишь самому тесному кругу русского образованного общества, имевшему возможность слушать лекции и речи московских профессоров С. Е. Десницкого и Н. А. Третьякова.

Оба этих ученых познакомились с доктриною Смита не из книг, а лично присутствуя на его лекциях. Еще в 1761 году они были посланы академиею наук в Глазго (в Шотландии), где тогда в качестве профессора читал лекции великий шотландец и где они пробыли четыре года. Правда, тогда Смит еще не был известен Европе, как экономист, а лишь как философ и талантливый представитель так называемой школы нравственной философии. Теперь мы знаем, что взгляды Смита, как экономиста, являются продолжением его философских воззрений, но тогда, по всей вероятности, это не было ясно. Во всяком случае ни Десницкому ни Третьякову не пришлось основательно познакомиться с экономическим учением А. Смита, во-первых, потому, что время, когда они слушали Смита, приходилось почти за 15 лет до написания его „Богатства народов", во-вторых, потому, что уже в 1764 году Смит, уезжая на континент, прекратил чтение лекций.

Более талантливый из двух командированных за границу аспирантов, Семен Ефимович Десницкий интересовался пре-

имущественно философской и юридической стороною учения Смита и, заимствуя у него лишь общее направление, не обратил внимания на Смитово учение о народном богатстве; зато его менее даровитый collega Третьяков остановился именно на последней стороне дела, а потому и смог сообщить на лекциях, а также в своей речи,—первом русском сочинении, излагавшем Смита,—некоторые из основных идей своего учителя, которые, очевидно, уже и тогда определенно формулировались Смитом. Упомянутая речь Третьякова „Рассуждение о причине изобилия и медленного обогащения государств как у древних, так и нынешних народов" появилась в 1772 году, т.-е. за четыре года до опубликования самим Смитом его знаменитого труда. Но „Рассуждение", как и лекции Третьякова, конечно, не могли ни дать полное представление об А. Смите, ни способствовать популяризации его воззрений. Увлечение Смитом началось значительно позднее, в дни либерализма первых лет царствования Александра I, когда идеи его воспитателя Лагарпа и друзей-конституционалистов (кн. Чарторыйский, Новосильцев и др.) давали общий тон настроению.

Само собою понятно, что тянувшаяся за двором сановная и чиновная бюрократия была также настроена либерально. Учение Смита с построенною на нем экономическою политикою либерализма и в России пришлось по душе всем прогрессивно настроенным слоям буржуазии или выражавшим основные буржуазные тенденции группам населения. Чины двора, офицерство и генералитет так же, как все столичное и губернское чиновничество, состояло из землевладельцев-дворян, класса в основе своей феодального. Но так как в эту эпоху и сельские отношения, не говоря о городских, уже проникались денежными тенденциями, то интересы и идеалы служилого дворянства приняли характер определенно буржуазный. Вместе с молодой европейской буржуазией, за которой Россия шла на идеологическом буксире, и верхние слои русского общества окрасились теми же классовыми тонами. Эти сложные феодально-буржуазные отношения поддерживались дарованным буржуазии правом владеть крепостным крестьянством, привилегией сословно-дворянской, и

разрушались при столкновении чисто-аграрных и чисто-капиталистических отношений, вступавших между собою в противоречие в некоторые исторические моменты. Так было накануне Отечественной войны 1812 года. Узко-классовые интересы дворянства, как феодального класса, требовали рынка для сбыта хлеба „за границею", уничтожения системы континентальной блокады, т-е. войны с ее вдохновителем Наполеоном, а торговой буржуазии торговля с Францией создавала значительные барыши. Первая тенденция, как известно, оказалась сильнее и победила.

В такой общей атмосфере министры и высшие правительственные инстанции легко проникались основными положениями экономического либерализма и на нем стремились обосновать свои мероприятия в области промышленности и торговли. В „Отчете министра вн. дел за 1803 год" задачи государственной власти прямо формулируются по „Смиту", в согласии с его доктриной раскрепощения хозяйственной сферы от государственной опеки. „Общие правила управления" заключались в том, чтобы „оставлять в свободе частную промышленность; иметь, сколько можно, достоверные об успехах ее сведения, доставлять ей в случаях необходимых нужные пособия, особливо удалять от нее всякое стеснение". То же направление отражается и на всей таможенной политике этого времени [1]).

Вскоре появилось и систематическое изложение учения А. Смита. В 1804 г почти одновременно труд А. Смита „О природе богатства наций" появился у нас и в изложении [2]) и в переводе Н. Политковского-старшего

---

[1]) См. Лодыженский, К.: История русского таможенного тарифа. Сиб. 1886 г.

[2]) Первое изложение было помещено на страницах официального органа министерства вн дел: „С.-Петербургский Журнал"; во втором отделе, носившем название. „Рассуждения и известия, до внутреннего управления принадлежащие", появилось „Изложение учения Адама Смита и сравнение оного с учением французских экономистов". В этом „толстом" журнале того времени, издававшемся в течение шести лет (с 1804 до 1810 г.), вообще удалялось значительное место статьям экономического характера Таковы, например, статьи. „О свободном торге золотом и серебром", „Об исключительных привилегиях и злоупотреблениях их", „О роскоши", „Нечто о существенном богатстве людей, о полезном употреблении людей и распространении земледелия", „О бедности и о способах совершенно истребить нищенство" и пр. В журнале бегло реферировались важнейшие положения доктрины главы классической школы, которого официальные авторы именуют „великим человеком" и указывают, что им „постигнута великая истина".

Таким образом на симпатиях к Адаму Смиту сходились в ту эпоху все слои русского общества, и знакомство с идеями Смита являлось непременным условием образования.

Более обстоятельно ознакомил с Адамом Смитом русское общество Христиан Шлецер [1]). Политическая экономия Шлецера [2]) уже уделяет достаточно места для основательной критики физиократов [3]), а высказываемые ее составителем взгляды находятся под несомненным влиянием А. Смита. На него Шлецер часто ссылается, титулуя его „славным". Под еще большим влиянием Смита, чем Шлецер, находился другой экономист того времени—Гереншванд. Гереншванд сочетал Смита с принципами прусской камералистики. В своей книге, изданной „по Высочайшему повелению" и озаглавленной „О новейшем государственном хозяйстве" (Спб., 1807 г.), автор называет А. Смита „знаменитым английским писателем" (стр. 147) и признается в заимствовании у него „важнейших идей". Под таким же сильным влиянием Смита находился известный экономист того времение Шторх, хотя и знавший, но не писавший, впрочем, по-русски. Генрих Шторх, преподаватель экономии великим князьям Николаю и Константину Павловичам, был видный смитианец фритредерского толка и крупный авторитет в высших сферах. Но Шторх к этому времени еще не дал ничего законченного, почему он и относится к числу экономистов более позднего периода. Помимо названных писа-

---

[1]) Шлецера, Шторха, Канкрина и некоторых других часто относят к числу представителей, так называемой, русско-немецкой школы в политической экономии. Так делает, напр., Рошер в своей истории политической экономии в Германии, где он уделяет этой группе экономистов значительное внимание. Но, строго говоря, выделять названных писателей в особое направление нет никаких оснований, а национальный признак („немцы") не дает еще права на особую школу в науке.

[2]) Подлинное заглавие этого забытого, но превосходного для своего времени курса политической экономии следующее „Начальные основания государственного хозяйства или науки о народном хозяйстве, сочиненные Христианом Шлецером надворным советником и политики профессором в Императорском Московском Университете". Далее следуют два типичных добавления: „перевод с немецкого" (С. Смирнова, „магистра свободных наук") и „для употребления обучающихся в гимназиях" 2 части Москва, 1805—1806 гг. Этот труд Шлецера был выдающимся для своего времени произведением и был переводим на языки немецкий и французский,—редкая честь для русского автора того времени, как и „Статистика" его современника Щербатова (1787), переведенная на три европейских языка.

[3]) Шлецер: Начальные основания, часть II, стр. 267—291

телей, учение Смита пропагандировал и популярный профессор Михаил Андреевич Балугьянский [1]). Это был европейски образованный экономист, известный, впрочем, более как талантливый сотрудник Сперанского.

Балугьянский, в бытность свою профессором Педагогического института, писал о „Феории Адама Смита" в издававшемся академиком Карлом Германом „Статистическом Журнале". Здесь Балугьянский напечатал первый на русском языке очерк истории экономических учений: „Изображение различных хозяйственных систем". В этой статье толково изложены воззрения меркантилистов, физиократов („экономистов") и „Феория" А. Смита. Кондырев в восторге от этого труда: „Изображение сие показывает,—говорит он,—что оно писано мужем ученым и с большим знанием в политической экономии; кратко и ясно представляет оно три главных системы государственного хозяйства: 1) систему, основанную на торговле, богатство народное представляющую в деньгах; 2) систему экономистов—в необработанных произведениях земли и 3) феорию Адама Смита—в труде и мене".

После Балугьянского, Смита у нас пропагандировали: в 1812 г. уже упомянутый Кондырев, в 1817 г. И. Нейман [2]) и свободолюбивый Карл Герман [3]), отчасти

---

[1]) См. П. Баранов: Михаил Андреевич Балугьянский, статс-секретарь, сенатор, тайный советник (1769—1849 г.). Биографический очерк. Спб. 1852 г. Его некролог, написанный Н. Алединским, был в свое время помещен на страницах „Северной Пчелы" (Спб., 1847 г., № 99). См. также Энцикл. Словарь Брокгауза, т. II, стр. 835.

[2]) Нейман, Иван, проф.: Исследование правил политической экономии по системе Адама Смита, изд. Главным Управлением Училищ. Спб., 1817 г. „Извлечение сие из сочинения Адама Смита о народном богатстве издается,—говорит в предисловии автор,—в пользу училищ, как руководствующая книга для преподавания политической экономии, дабы ученики в своих занятиях неотменно имели в виду самые важные положения и мысли славнейшего по оной части сочинителя. Для сего приложено было старание обработать сию книгу по английскому подлиннику с наблюдением строгой точности, наипаче в выборе технических слов".

[3]) Герман рекомендовал Смита в качестве руководства по статистике. „Знаменитое сие о политической экономии сочинение указывает статистику предметы, на кои он преимущественно должен обращать свое внимание; а как оно главнейше основывается на статистике, то в оном обретается сокровище отборных статистических сведений. Классическое сие сочинение должно быть ручною книгою каждого статистика". К. Герман. Историческое обозрение литературы статистики. Спб., 1817 г., стр. 11.

Стройновский [1]). В результате имя Смита в Александровскую эпоху стало очень популярно. Мы все помним прелестное место из биографии Евгения Онегина, где поэт дает следующую характеристику:

Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То-есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золото ему,
Когда простой продукт имеет.

Но эти идеи оставались для большинства простою декламациею и не встречали отклика в помещичьей среде. Мы знаем, как относился к идеям Смита отец Евгения:

Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

Кстати, заметим, что по точному смыслу стихов Пушкина перед нами характеристика физиократизма, а не смитианства, придававшего значение „свободе“ а не „простому продукту“ земли.

Ко времени появления первых положений учения Смита появился и первый том русского перевода основного труда Адама Смита. Перевод исполнен казенным переводчиком Александровской эпохи, Николаем Романовичем Политковским-старшим (1763—1830).

Перевод Политковского появился при материальном участии правительства, и раньше дававшего средства для издания выдающихся иностранных сочинений. Расходы по изданию Смита были покрыты из суммы в 120 тыс. рублей, ассигнованных в 1803—1816 гг. на переводы сочинений: А. Смита, Беккария, Монтескье, Фенелона, Тацита и некоторых других.

---

[1]) Несколько хаотическое сочинение польского физиократа Валериана Стржеменя из Стройнова, графа Стройновского, озаглавленное: „Всеобщая экономия народов“, переведено было с польского и издано в С.-Петербурге в 1817 г. в 3 томах. Стройновский старается умалить заслуги Смита, которым он широко пользуется и которого он уличает в притязательности на ему не принадлежащее. „Самолюбие, под личиною неразумения оных правил (т.-е. правил Кенэ), так водило пером его (Смита),—говорит Стройновский,—как будто он творил в сей науке новые понятия“. Глава 19 (тома 1-го) этого сочинения посвящена горячей, но совершенно ошибочной полемике с Адамом Смитом

Политковский был черниговским вице-губернатором и сделал перевод по распоряжению министра финансов, графа Ал. Ив. Васильева. Он выпустил труд А. Смита под заглавием: „Исследование свойства и причин богатства народов; творение Адама Смита, перевод с англинского", в четырех томах, выходивших на расстоянии нескольких лет (I—в 1802, II—в 1803, III—в 1805, в 1806 г. издание было закончено). Издание имело блестящий успех и доставило переводчику солидное имя. Переводчик популяризатора Смита, геттингенского профессора Григория Сарториуса, адъюнкт Петр Кондырев в предисловии к своему переводу (Казань, 1812) недоволен переводом Политковского за его неточность. Вообще цеховые ученые отрицательно относились к переводу Политковского. Так, проф. И. Нейман, издавая сокращенное изложение А. Смита („Исследование правил политической экономии", Спб. 1817), обещает издать более подробное изложение труда Смита ввиду „недостатка хороших переводов". Позднее перевод Политковского осуждался еще сильнее. Проф. Вернадский в своем „Очерке истории политической экономии" (Спб. 1858) писал, что перевод Политковского „не точен и темен, неполон и не заключает некоторых позднейших прибавлений. Научные термины устарели, книга же эта теперь редка". Наконец, в 1866 году П Бибиков издал в Петербурге основной труд Смита в довольно гладком, но все же не строго научном переводе. Последнего до сих пор Россия так и не имеет. В 1895 году было издано популярное сокращенное издание „Богатства народов" в переводе Щепкина (изд. Солдатенкова, М. „Библиотека экономистов", вып. I).

Переводя и популяризируя Адама Смита, современники воспринимали его учение без критики и уяснения его явных противоречий с тогдашнею действительностью, особенно русскою. Между тем и „Дух Журналов" 1817 года, и декабристы, особенно Пестель перед декабристским восстанием, уже знакомы были с иными авторитетами. „Дух Журналов" знал уже учение Симонда де-Сисмонди, одного из первых критиков Смита и смитианства, а Пестель находился под влиянием более радикальных течений экономической мысли, хотя бы, например, Мабли. Но вся эта иноземная критика

была еще чужда русскому общественному мнению, пробавлявшемуся смитианством.

Оригинальной мысли и критических течений в нашей экономической мысли тогда еще не было. Все сводилось к переводам и усвоению „общепризнанных“ авторитетов. Недаром казанский адъюнкт П. Кондырев плачется о том, что „словесность политической экономии на российском языке—у нас малозначительна“. „Мы имеем,—говорит он,—одни переводы, но и тех в не весьма достаточном количестве“, да к тому же и не высокого технического достоинства. Переводы подлинников заменялись переводами комментаторов Смита: Сарториуса, Муратория, де-Верри, Юсти и др.

Убогость научной литературы скрашивалась до известной степени распространением экономического образования и преподаванием политической экономии в высших учебных заведениях. В 1818 году Николай Иванович Тургенев писал: „В нашем отечестве сведения по части политической экономии начали распространяться с очевидным успехом. Даже иностранцы, занимающиеся этою наукою, с удовольствием замечают, что во всех русских университетах учреждены для политической экономии особые кафедры“. Политическую экономию Тургенев одобряет, как родоначальницу политической нравственности. Систему Смита он величает „критической“. „Занимающийся, проходя эту систему,—говорит Тургенев,—научается верить только исследованиям и соображениям рассудка, простому здравому смыслу и всему тому, что естественно и непринужденно“. „Все блага и здесь основываются на свободе“, а зло на „вмешательстве“.

Литература.

О классической школе в России: по русски сочинения Ад. Смита:

1) **Смит, Адам:** Исследование свойства и причин богатства народов. Перевод Николая Политковского, 4 тома. Спб, 1802—1806.

2) Опыт о богатстве народов. С примечаниями Бентама, Гарнье, Буханана, Мак-Куллоха, Мальтуса, Милля, Рикардо, Сея, Сисмонди и Тюрго. Пер. П. А. Бибиков. Спб., 1866.

3) Теория нравственных чувств, или опыт исследования о законах, управляющих суждениями, естественно составляемыми нами сначала о поступках прочих людей, а затем наших собственных.

С письмами М. Кондорсе к Кабанису. Перев. П. Бибиков. Спб., 1868.

Учению Адама Смита на русском языке посвящены следующие работы:

Сарториус: Начальные основания народного богатства и государственного хозяйства, следуя системе Ад. Смита. Пер. П. Кондырев. Казань, 1812.

Нейман, И.: Исследование правил политической экономии по системе Ад. Смита. Спб., 1817.

Цехановский, Гр.: Значение Ад. Смита в истории политико-экономических систем. Киев, 1859.

Бибиков, В.: Значение А. Смита в истории политико-экономических систем. „Отечественные Записки" 1860. 1.

Яковенко, В.: Адам Смит, его жизнь и научная деятельность. Биографический очерк. Спб., 1893.

ГЛАВА VIII.

„ДЕКАБРИСТЫ".

1.

Русское дворянство, вернее барство конца XVIII в., объединенное впервые в тайных масонских ложах и воспитанное на идеях французских вольнодумцев и радикальных философов, не могло мириться с монархическим режимом. Ко времени наполеоновских войн оно уже энергично стремилось к политическому перевороту.

Вопрос о новом государственном устройстве, о гражданских правах бесправного населения, притом о правах всего населения без изъятия, а не одного только „благородного шляхетства", естественно, выдвигался на первое место. Но так как свободной политической печати еще не было, легальные общественные учреждения и организации отсутствовали, то, сохраняя свои масонские привычки, либеральное дворянство повело политическое освобождение по методу тайных организаций. У нас сходные условия привели к тому же, что и на ближнем Западе. Устраивались широкие общественные демократические союзы, а не замкнутые аристократические масонские ложи.

Русские масонские ложи, закрытые еще при Екатерине II, при Александре I восстановляются. Во главе возродившихся стали две масонские ложи: „Соединенных Друзей“ и „Трех Добродетелей“. Сюда вступили те же лица, которые позднее составили ядро декабризма [1]).

Преданные абсолютизму, с слабыми социальными симпатиями, гуманные масоны, при всем враждебном отношении более просвещенных из них к крепостному праву, редко переходили от слов к делу. Известен случай печатного обращения масона (Невзорова в журнале „Друг Юношества“. за 1809 г., февральская книжка) в защиту труда фабричных рабочих на „тиранских фабриках“ (см. Семевского, стр. 340). Масоны первоначально были терпимы правительством.

Отношение власти выразилось на одном докладе, присланном московскою администрациею, передававшею ходатайство москвичей об открытии ложи „Тройственного рога изобилия“. Александр I сказал:—„Я не даю явного позволения, но смотрю сквозь пальцы; опытом дознано, что в них нет ничего вредного, и потому предоставляю на волю московского генерал-губернатора“.

Масонство вскоре перестало удовлетворять развивавшемуся общественному самосознанию, общество политически левело.

Образцом для будущих декабристов был немецкий демократический союз „Тугендбунд“ („Союз добродетели“), сыгравший крупную историческую роль в общественном движении той эпохи.

Тугендбунд был основан в наполеоновскую эпоху несколькими немецкими патриотами в Кенигсберге в 1808 году и явился противовесом в дни политического порабощения Германии. Объединение было „нравственно-научным союзом“. Надо было поднять и воспитать дух протеста и свободолюбия. Поэтому это, вначале вполне легальное общество, к тому же утвержденное прусским королем, имело

[1]) Муравьевы (Александр и Никита), кн. Волконский, кн. Лопухин и кн. Долгоруков, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, М. Я. Фонвизин, Николай Тургенев, Петр Колошин, П. С. Чаадаев, П. И. Пестель, А. С. Грибоедов, кн. С. П. Трубецкой, кн. С. Г. Волконский, Н. Бестужев, братья Кюхельбекеры, К. Ф. Рылеев и другие.

целью „произвести улучшение нравственного состояния и благосостояния прусского и затем немецкого народа единством и общностью стремлений честных людей". Средствами, помощью которых достигалась намеченная цель, объявлялись: „слово, письмо и пример".

В 1809 году Наполеон, зорко следивший за общественными настроениями Европы, потребовал закрытия „Союза добродетели", что и было формально исполнено; но организация продолжала существовать тайно, воодушевляя умы на подвиги патриотизма, национального пробуждения и политического освобождения. Считалось, что „Союз добродетели" находится под покровительством влиятельного министра, реформатора Штейна, и является политическим центром освободительных стремлений. В сходном духе дело шло и в России.

Либерализм и гуманность в самом начале XIX столетия были руководящими принципами и небольшой кучки аристократов, окружавших тесным кольцом престол юного Александра I. Складывался своего рода придворный и дворцовый „Тугендбунд". Нашествие Наполеона внесло перелом в настроение царя. По мере того, как он лично отходил от идеалов своей юности, идеи либерализма и гуманности все шире распространялись среди верхних слоев русского дворянства. Расхождение с течением времени становилось все значительнее и глубже. Ко времени „Священного Союза" государей для защиты их стран от французов и революции, Александр, вдохновитель и организатор этого союза, вступает на путь мистико-созерцательной религиозности и политической реакции, заменив группу своих былых свободомыслящих друзей единоличным оплотом обскурантизма — Аракчеевым.

Между тем массовое посещение заграницы дворянством во время наполеоновских походов ознакомило широкие слои русского общества с европейскими порядками и подготовило его к усвоению новых политических взглядов. Вернувшись на родину, русские ясно увидели весь ужас невежества, рабства, поняли азиатчину правительства, создавшего военные поселения, стеснявшего свободу мысли и слова. Возвышались Магницкие и Руничи — истязатели просвещения;

диктаторствовал всесильный руководитель бессмысленной и черной реакции, Аракчеев.

Более просвещенные не могли оставаться равнодушными к бедствиям и страданиям родины. Охваченные патриотизмом, они с волнением всматривались в положение отечества. Один из декабристов впоследствии писал: „Мы были сыны 1812 года. Порывом нашего сердца было жертвовать всем, даже жизнью, во имя любви к отечеству. В наших чувствах не было эгоизма".

Отсюда рождается активный протест, стремление к действию, к изменению. Поэтому и в России зарождалось первое организованное революционное настроение [1]).

Дворянство охотно вступало в тайные общества, где критиковало политический строй и стремилось найти выход из положения. Так создались первые тайные организации и первые проекты радикальной политической реформы.

Привычка к тайным организациям привилась у нас еще раньше—в эпоху масонства. Масонское движение и масонские ложи были многочисленны в обеих столицах и провинции. Через их стены прошло и большинство будущих декабристов, скоро, впрочем, разочаровавшихся в масонстве, как пути к разрешению очередных вопросов. Они стремились к активному изменению, к действию. Неудачная попытка в декабре 1825 года и дала им наименование „декабристов".

Как сложилось их мировоззрение, каковы причины, направившие их на путь вольномыслия и политического протеста?

После наполеоновского нашествия и похода русских в Париж, русское общество, научившись единению в масонских ложах, начало свое организационное строительство. Это наладилось не сразу. В 1815 году группа влиятельных дворян ре-

---

[1]) Его организованность была новым явлением. Прежде движение в России носило стихийный характер, шло с „низов" и притом, как всякое народное движение, носило более социальный характер. Таковы были массовые социально-политические движения в XVII в. Степана Разина, в XVIII—Емельяна Пугачева. Теперь движение шло „сверху", было чисто-политическим, организованным, тайным и, в конце концов, откровенно-революционным.

шила устроить полумасонское, полуполитическое „Общество русских рыцарей“. Первую русскую организацию задумали два представителя высшего общества, генерал М. Орлов и граф Мамонов В предположенном к введению уставе „Ордена“ ставилось, между прочим, требование тираноборчества—этой основной идеи Радищева—и республиканского правления. Устав предписывает „беспощадную борьбу с тиранами, смерть за свободу, не страшась оков, бичей, темницы, пыток, яда, пистолета и кинжала“. Для осуществления своих политических идеалов Мамонов предполагал созвать „Народное Вече“ и учредить две палаты наследственных вельмож и „мещан“, где имелись представители от мастеровых и поселян, а России дать республиканское устройство.

Проект Мамонова так и остался в зародыше, а самое „Общество русских рыцарей“ не осуществилось. Проект интересен духом радикализма и заговорщичества, которые были новы для России. И действительно, многое надо было продумать и перечувствовать русскому дворянину, аристократу и придворному, чтобы из верноподданного превратиться в тираноборца. Этому способствовало чтение книг, влияние Европы и западных конституций, особенно американской, наконец знакомство с историей европейских революций. Сильное влияние на умы оказывали также восстание греков и речи Александра I в 1818 году в Варшаве, сулившие и России конституцию.

В 1816 году было основано довольно обширное тайное объединение „Союз Спасения“, или „Союз истинных и верных сынов отечества“, имевший много масонской внешности. Среди немногочисленных вначале основателей его были наиболее видные декабристы: князь С. Трубецкой, И. Д. Якушкин, Александр и Никита Муравьевы, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Лунин, Глинка и Павел Иванович Пестель.

В 1817 году П. И. Пестелем был составлен и утвержден собранием устав этого Союза. Здесь содержались ясно выраженные конституционные идеи, высказывалась забота о свободе книгопечатания и давалось обязательство поведения, которое бы не заслужило „не малейшей укоризны“.

Конституционные идеи были умеренны: Союз стремился к введению „монархического конституционного правления".

Союз Спасения с своей неопределенной программой черезчур широко открывал двери желающим, но успеха не имел, ибо еще не созрела политическая оппозиция. А так как настроение к объединению и активности крепло и необходимость пропаганды росла, то в 1818 году Союз распустили. Вместо него была создана по образцу немецкого „Союза Добродетели" более тайная и замкнутая организация — „Союз Благоденствия". Программа нового Союза была неопределеннее, зато удобнее для пропаганды.

Немецкий устав „Тугендбунда" был консервативнее в политическом смысле, защищая существующий политический строй, и радикальнее в экономическом, требуя освобождения крепостных, чем русский устав, названный „Зеленой книгой". Последний, напротив, стоял за реформу политического строя и за филантропию, но умалчивал „о рабстве". Внешняя сторона Союза была очень скромна, скромнее и неопределеннее „Союза Благоденствия", и порождала впечатление, что общество занято только самоусовершенствованием своих сочленов. Союз направлял свою деятельность на четыре основных вопроса: человеколюбие, образование, правосудие и общественное хозяйство, но фактически сделал мало. Практическим итогом была довольно широкая пропаганда идей представительного образа правления и освобождения крестьян. В Союзе царил дух революционный. Под его же покровительством возникло другое общество той эпохи, общество чисто-литературное — „Зеленая лампа".

Союз Благоденствия быстро стал популярным и привлекающим центром с многочисленными членами и полковыми разветвлениями. Он просуществовал три года создавая прекрасную переходную ступень от перфектибилизма к политике. Грибоедов в „Горе от ума", в сцене с Репетиловым, гениально осмеял общество примыкавших к движению из моды.

Репетилов образно рассказывает Чацкому свое посещение заседания „тайного общества".

„Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь
С умнейшими . . . . . .
Из шумного я заседанья...
Пожалуйста, молчи, я слово дал молчать,
У нас есть общество, и тайные собранья
По четвергам. Секретнейший союз...
Вслух громко говорим, никто не разберет...
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,
О Байроне, ну, о матерьях важных,
Частенько слушаю, не разжимая губ.
Мне не под силу, брат, я чувствую, что глуп.
. . . Поедем-ка сейчас, мы благо на ходу,
С какими я тебя сведу
Людьми... И на меня нисколько не похожи.
Что за люди, mon cher! Сок умной молодежи:
У нас... решительные люди,
Горячих дюжина голов!
Кричим, подумаешь, что сотни голосов,
Шумим, братец, шумим!..“
— „Шумите вы и только“—
„Не место объяснять и недосуг,
Но государственное дело:
Оно, вот видишь, не созрело,
Нельзя же вдруг“.

Общественное мнение трусливой буржуазии боялось революции и мечтало о реформе „не сразу“: „нельзя же вдруг!“. Все же мода становилась опасною; поэтому Союз был официально закрыт в 1821 году самими же участниками объединения.

Вместо закрытого Союза в том же 1821 году возникли три новых тайных закрытых, уже чисто-политических заговорщических организации: 1) „Северное Общество“, 2) „Южное общество“ и 3) „Общество Соединенных Славян“. Это были революционно-политические центры, тем более определенные и решительные, чем реакционнее в эти годы становилось правительство.

Подозрительный и никому не веривший Александр I, знал о существовании и целях тайных обществ, но относился к ним нерешительно, хотя и не мешал своим министрам принимать кое-какие общие предохранительные меры. Так, выслушав доклад об обществах командира гвардейского корпуса Васильчикова, Александр сказал: „Вы, который служите мне с самого начала моего царствования, знаете, что я разделял и поощрял все эти мечты и эти заблуждения,—не мне подобает быть строгим“. Более подробный доклад генерал-адъютанта А. Бенкендорфа, будущего

столпа николаевской полиции, тоже остался без последствий; его нашли после смерти Александра в его кабинете, в Царском Селе. Зато доносчики были обласканы братом Александра, Николаем, который, в противоположность Александру, зорко следил за нараставшим революционным движением.

Все же масонские ложи и тайные общества всех наименований были официально закрыты в 1822 году. От служащих военных и гражданских была отобрана подписка о неучастии в тайных обществах. При гвардейском корпусе, к которому относились подозрительно, была организована военная полиция. Все это, конечно, не остановило развития деятельности тайных обществ. Члены их, утратив надежды на реформы, все более усваивали идею насильственного переворота. Он, в конце концов, и был задуман при содействии войск. Заговор энергично подготовлялся Южным Обществом, в штаб-квартире „Южной" армии, в Тульчине, слабее на севере, в Петрограде. На юге Пестель и Юшневский действовали энергичнее и смелее. Между Северным и Южным Обществом лежала целая пропасть. Ее лучше всего определил сам А. С. Пушкин, сочувствовавший и знавший дух и руководящие идеи движения.

Пушкин в сожженной им десятой песне Евгения Онегина, от которой сохранились только отдельные отрывки, описывал собрания декабристов, Северное Общество, тенденциям которого он меньше сочувствовал, чем более демократическому Южному.

Пушкин говорит:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Там Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал...
Там Кюхельбекер обнажал
Цареубийственный кинжал...
Одну Россию в мире видя,
Лелея в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, слово „рабство" ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Подготовка к восстанию была в полном ходу, когда неожиданно случилось изменение общей политической конъюнктуры: со смертью Александра I наступило „междуцарствие“ с его обычными колебаниями и нерешительностью. Это положение и думали использовать заговорщики.

2. 14 декабря 1825 года.

Внезапная смерть Александра I 19 ноября 1825 г. неожиданно создала новые обстоятельства. Армия присягнула брату Александра, Константину Павловичу, не зная об отречении его от престола в пользу младшего брата Николая. Константин продолжал, хотя и нерешительно, отказываться от престола. Зато Николай всей душой стремился к власти. Междуцарствие длилось до 14-го декабря, когда в Петербурге часть войск, предводительствуемая членами тайных обществ, вышла с оружием в руках на улицу. Началось в о с с т а н и е.

Николай, во время предупрежденный своими шпионами (Майборода, Шервуд-Верный и пр.), энергично готовился, сознавая всю опасность положения. „Послезавтра поутру я— или государь, или без дыхания“,—сказал он 12 декабря. Так как вопрос сводился к тому, за кого гвардейские верхи, генералитет и командиры, мало примыкавшие к декабристам, то Николай повел торг с видными прибалтийскими баронами, заполнявшими верхи командования. Им широко обещались милости и придворные звания. За две недели до Нового года было назначено 20 новых генерал-адъютантов и 30 флигель-адъютантов, почти исключительно из остзейских фамилий (Бенкендорфы, Грюнвальды, Фредериксы, Каульбарсы и проч.).

Рядовое офицерство, а с ним большинство солдат—были на стороне декабристов. Им сочувствовали и наверху немногочисленной буржуазии, с которою связь была через Рылеева и Каховского. Некоторой реальной силой был военный губернатор—граф Милорадович, убитый в первую же минуту восстания; но поведение его было неопределенно. Так же сконфуженно, нерешительно, а некоторые и робко, вели себя

и декабристы. Они совершили ту великую историческую ошибку, которая их сгубила: они не желали опереться на народные массы, уже волновавшиеся, и все еще как бы считали распри с троном своим чисто-дворянским, семейным делом.

Между тем всякому непредубежденному наблюдателю было ясно, что „народ“ уже и тогда мог сыграть важную роль, как реальная сила. Даже первые кавалерийские атаки войск, шедших за Николаем, были отбиты окружившим нерешительное каре декабристов простым народом, действовавшим каменьями и поленьями. Командира гвардейского корпуса Воинова толпа просто стащила с лошади.

Очевидец события, которого нельзя заподозреть в пристрастии к декабристам, принц Евгений Вюртембергский, наблюдавший восстание из окна Зимнего дворца, свидетельствует, что „волнующаяся густая толпа народа разных классов покрывала всю Исаакиевскую площадь и все прилегающие к ней улицы. Толпа отражала атаки кавалергардов и конной гвардии энергичнее декабристов, стрелявших больше в воздух“. Принц был поражен незначительностью войск, которыми располагал Николай: с ним был только батальон преображенцев, несколько кавалерийских частей, да на площадь подвезли несколько орудий без снарядов. Пехота бездействовала, кавалерия проделывала какие-то „скакообразные“ аллюры, артиллерия безмолвствовала.

Но так же бездеятельны были и декабристы. Только к концу дня, к сумеркам, артиллерия Николая получила порох и картечь, а остзейские офицеры начали проявлять инициативу. По совету барона Толя начали стрелять прежде всего по народу, ютившемуся на крышах Сената, а затем в толпу и в декабристов. „Штатских“ пострадало не меньше, чем солдат. Пехота декабристов и моряки дрогнули и бросились вдоль Галерной и по набережной. Часть беглецов перескакивала на лед Невы и уходила на Васильевский остров. Николай, вернувшись в Зимний дворец, стал фактически императором.

Сцена мятежа на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. принадлежит к одной из замечательнейших по трагизму картин новейшей русской истории. Две силы стояли друг

против друга в ярой вражде. На минуту часы истории остановились; чаши весов русской истории колебались. Наступила зловещая тишина... Дезорганизованность и нерешительность декабристов дали в конце дня перевес спасавшему свой трон и напиравшему на революционеров Николаю, как только ему доставили снаряды к пушкам. Писатель Мережковский прекрасно и образно изложил нерешительность и неумелость декабристов, которые могли бы быть и победителями. „Диктатор" декабристов, князь Трубецкой, не появившийся даже на площади, повидимому, ждал отречения Николая с того момента, когда революционные войска выйдут на площадь.

Отсутствие активности и политического опыта, вялость революционного темперамента и отсутствие значительной поддержки масс дали Николаю возможность несколькими залпами артиллерии рассеять нерешительных идеалистов-мятежников, скорее демонстрантов, чем активных революционеров. Россия за несколько часов была отброшена на целое столетие назад. Только февраль 1917 года залечил рану декабря 1825 года. Тот же неуспех и то же политическое младенчество наблюдались в то время и в провинции, на юге.

Через две недели там тоже вспыхнуло движение. Восстала часть Черниговского полка, освобождая арестованного С. Муравьева-Апостола, и двинулась на Белую-Церковь. Но здесь малочисленные восставшие были, 3 января 1826 года, обезоружены гусарами и конною артиллерией.

17 декабря 1825 года под председательством военного министра Татищева была учреждена Верховная Следственная Комиссия „для изысканий о злоумышленных обществах", а 6-го мая 1826 года—Верховный Уголовный Суд. В число обвиненных попали только активные деятели петроградского мятежа, хотя в действительности декабризм охватил довольно значительные слои русского общества. Сам Николай насчитывал не менее 6 тысяч декабристов. Суду, между тем, были преданы только 121 человек, из которых около половины (61) пришлось на членов Северного Общества и Общества Соединенных Славян. Это все высшие чины армии и „светского" общества, остальные— 37 приходятся на чле-

нов Южного и 23—на гвардию, где служили только представители родовой аристократии. Арестовались только активные деятели восстания. Следствие велось инквизиторски, а главным сыщиком и следователем был сам Николай, коронованный жандарм и лицемер.

13 июня 1826 года были казнены через повешение пятеро: полковник Павел Иванович Пестель, поэт Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и дворянин Петр Григорьевич Каховский. Каждый из них—выдающийся человек, два из них—писатели. Россия утратила пять лучших своих сынов.

Казнь была совершена с бессмысленной жестокостью: осужденных заставили несколько часов ждать постройки эшафота. Трое из них были повешены дважды: первый раз оборвались веревки. Хоронили тайно, где-то на острове Голодае. Могилы их почти безвестны. По моим розыскам, могилы декабристов—на острове у взморья, но это еще не получило официального признания по разным мелким личным соображениям. Ход следствия о декабристах был образцом иезуитизма, бесправия и несправедливости.

После инквизиторского следствия лучших из декабристов казнили, а остальные пошли на каторгу, в Сибирь. За многими последовали в рудники их жены, подвиг которых воспел Некрасов в „Русских женщинах". Только через четверть века, а именно в 1856 году (26 августа) Александр II в день своей коронации подписал амнистию для уцелевших. Многие из декабристов были писателями; они оставили нам свои интересные мемуары, письма, записки. Последние еще до сих пор не изданы с достаточною тщательностью, в системе и с должною бережностью, но и из того, что уже увидело свет, вполне очевидно, что декабризм был широким общественным движением русской интеллигенции. И проницательный гений молодой России—Грибоедов, и державное солнце великой русской литературы—Пушкин осенены декабризмом с его идеалами.

Личности многих из активных декабристов замечательны. Хотя нас интересуют больше их идеи, но и влияние их на все последующее поколение нельзя обойти. Поэт 40 годов Огарев пишет:

Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась...
Вот пять повешенных людей...
В нас сердце молча ужаснулось,
Но жизнь живая содрогнулась,
И путь назначен жизни всей...

Рылеев был мне первым светом,
Отец по духу мне родной..
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.

Мы стих твой вырвем из забвенья
И в первый вольный русский день
Укажем юным поколеньям
Твою страдальческую тень..

Взойдет гроза на небосклоне—
И волны на берег с утра
Нахлынут с бешенством погони,
И слягут бронзовые кони
И Николая и Петра..

Но образ смерти благородной
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг твой свободный
Святыней в памяти народной
На все грядущие года..

В первый „вольный русский день", наступивший в 1917 году, освобожденная Россия с благодарностью вспомнила своих первых героев, их благородную смерть и мученическую жизнь. Возникло небольшое, впрочем, вскоре заглохшее Общество памяти декабристов. Оно мечтало соорудить на Сенатской площади величавый и прекрасный, как заветы декабризма, памятник. Но памятника им все нет и, быть-может, к лучшему: он должен жить в наших сердцах.

В основе политических идеалов декабристов лежала политическая перемена, р е ф о р м а. Ее давно ожидали то от милосердия и сознательности правительства, то от убеждения его и увещавания, то, наконец, от прямого физического воздействия на него—путем страха и смерти. Так постепенно дошли до идеи активного революционного воздействия, до мысли о необходимости истребления всей царствующей династии. Среди декабристов Петр Каховский обрался, жертвуя собой, физически устранить императора.

В дни Радищева и Новикова, когда впервые родилось, по верному показанию историка Ключевского, русское общественное мнение, молодая русская мысль уже усвоила себе, как основное положение, настоятельную и острую необходи-

мость двойной реформы—политической и социальной: освобождая страну от самодержавия, стремились отменить и крепостное право. Но эта отмена в виде реформы сверху была так же безнадежна, как и изменение всего тогдашнего государственного и политического строя монархической России.

3. Экономические воззрения декабристов.

Радищев справедливо считал проведение коренной реформы возможным только силами самого восставшего народа. Если правящая власть не желала произвести настоятельную, назревшую реформу раскрепощения, очевидно, оставался один путь—переменить самую политическую систему, поддерживающую рабовладение. Сознание, что социальная реформа—раскрепощение крестьян—невозможна без предварительного политического раскрепощения, стало совершенно ясно к началу 20-х годов, т.-е. ко времени, когда „светлых Александровых дней прекрасное начало" уже покрывалось черными вуалями реакции. Передовое дворянство, составляя в 1820 году адрес Александру I-му об уничтожении крепостного права, уже полагало, что для прекращения „всех бедствий России следует созвать Земскую Думу".

В „Союзе Спасения" идея освобождения крестьян, по показанию Пестеля, являлась целью Союза только „при самом первом начале и весьма короткое время". Но уже весьма скоро центром внимания стала конституция. Большинство декабристов считало политическую реформу первым и предварительным условием, как бы признавая „примат политического над социальным", как выразился недавно один наш литературный критик. Впрочем, по этому важному пункту имелось серьезное разногласие среди членов Союза, будущих декабристов.

Если большинство признавало политическую реформу вполне самостоятельной, самодовлеющей целью, то некоторые, например, Николай Иванович Тургенев, попрежнему отстаивали только социально-экономическую реформу, оставаясь

равнодушными к политике. Наконец звезда первой величины декабризма—Павел Иванович Пестель соединял в своем мировоззрении и социальное и политическое, как две неразрывно связанные части одного целого.

Отсюда три вариации социально-экономических идей декабризма, три различные направления, а следовательно и три программы действия. Рассмотрим их по очереди.

„Декабристов", т.-е. лиц, физически попавших под суд Николая I, было меньше, чем лиц, идеологически подпавших под влияние декабризма. Декабризм, как движение, охватил почти половину всего тогдашнего русского общества, преимущественно верхнее и среднее дворянство, и почти целиком всех недовольных всех классов. Все „передовое" дворянство было задето декабризмом в первую голову.

Тут были и А. С. Грибоедов, и поэт А. С. Пушкин, и Александр Бакунин, отец революционера, и уехавший за границу Николай Иванович Тургенев, и многие другие. Недаром ревнивый и зоркий венценосец-жандарм насчитывал до шести тысяч человек, „зараженных декабризмом". За дворянством или немногочисленные круги петербургской торговой буржуазии. Остальные классы были чужды движению, безмолвствовали или отсутствовали. Только в день восстания „простой народ", при виде „театра" истории, невольно принял участие, инстинктивно поняв смысл „спектакля".

Либеральные дворянские элементы группировались вокруг Никиты Муравьева, начертавшего и „Конституцию" и „Проект манифеста" в духе тогдашней передовой западно-европейской буржуазии. К идеям Муравьева примыкала большая часть декабристов: подчеркивая свои классовые интересы, многие из этой группы вообще стояли на ясной аристократической политической платформе. Здесь аристократия являлась той уздою для самовластного абсолютизма, которая была вообще типична для борьбы феодализма с монархией.

Это направление возмущало демократически настроенного „экономиста чистой воды" Николая Ивановича Тургенева, стоявшего за раскрепощение крестьян и хозяйственные реформы в первую голову. Он считал само-

державие надежною уздою для зарвавшихся феодальных крепостников и придавал мало значения политике.

Наконец, республиканец Пестель, враг и аристократии и самодержавия, ставил в основу восстания социальную реформу, но достигаемую, по его мнению, только через предварительное политическое раскрепощение крестьянства. Все три направления Муравьева, Тургенева и Пестеля были буржуазными и националистичными, ярко враждебны иноземцам и инородцам, особенно немцам и евреям. Все три направления были буржуазно-аристократичны или буржуазно-демократичны, но все одинаково пропитаны дворянскими предрассудками.

I. Вдохновитель „Северного Общества", молодой Никита Михайлович Муравьев впервые, если не считать проектов верховника Голицына, пишет русскую конституцию в духе конституции 1796 года. Кроме Муравьева, набросок конституции составлял еще декабрист Батенков; но проект последнего, мало законченный и по духу еще более правый, не служил предметом активного внимания декабристов. К тому же конституция Батенкова—конституция монархическая. Впрочем, и она стоила автору 20 лет каземата... Муравьев был типичным выразителем духа и стремлений большинства.

Любопытно „Вступление в конституцию", которое предпослал ей Муравьев.

„Опыт всех народов и всех времен доказал,—говорит он,—что власть самодержавная равно гибельна и для правителей и для общества; она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого смысла; нельзя допустить основанием правительства—произвол одного человека". Какой образ правления народу русскому приличен? — задает вопрос Муравьев. „Федеральное или союзное правление одно разрешило бы сию задачу"—убежденно отвечает автор. „Державы" или „штаты", числом 13, составляют русское государство.

Первая статья конституции Муравьева гласит: „Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства".

Вторая статья: „Гражданство есть право определенным порядком участвовать в общественном управлении". Вся система администрации основана у Муравьева на выборном начале, но пассивное избирательное право связано с цензом, сильно повышающимся на верхних ступенях административной иерархии.

Третья статья конституции гласит, что все русские равны перед законом, крепостное право уничтожается, гильдии и цехи отменяются. Сословия и табель о рангах—тоже. Все становятся равноправными гражданами. „Граждане получают право устраивать общества и товарищества без разрешения. Дается право петиций, обосновывается веротерпимость, гарантируется свобода и правильность выборов. Духовенство содержится на счет государства".

Верховная власть сосредоточивается в руках Народного Веча, состоящего из Верховной Думы и Палаты народных представителей, и императора. Верховной Думе принадлежит право суда над министрами. Вместе с императором Дума участвует в делах войны и мира, в назначении командующих войсками и флотом, а также высших чинов судебного ведомства. Изменить конституцию или менять династию может только Народный и Державный Собор. Таковы самые общие вехи Муравьевской схемы, навеянной, конечно, английской и американской конституциями.

II. Другой проект конституции, как уже сказано, принадлежал Батенкову, полагавшему, что Россия должна быть наследственною монархией. В его монархии создается немногочисленное, но сильное „родовое вельможество". В руках этой родовой аристократии—верхняя палата, или „палата вельмож". Нижняя палата, или „палата по выборам"—орган политической власти одного среднего сословия—землевладельцев, горожан и духовенства. Обе палаты разделяют исполнительную и законодательную власть с императором.

Декабристы не составляли законченной конституции. Они были скромны и отводили себе только роль подготовителей. Важное дело окончательного решения они предоставляли деятелям самой революции, вернее—тем, кто возьмет в свои руки власть на другой день после переворота. По-

этому декабристы полагали, что всякая составленная ими конституция есть только проект. Его примут и рассмотрят только созываемые сенатским манифестом народные представители. Проект такого манифеста был уже заготовлен князем С. Трубецким. Он декларировал новые права, уничтожал старое правление до установления постоянного выборного. Это временное правительство состоит из 2-х или 3-х лиц. Для него был заготовлен проект манифеста и намечались две прокламации: к войскам и к народу.

III. Своей „Русской Правде или Законодательной Государственной Грамоте великого народа Российского“ Пестель предпослал обширное разъяснительное введение. Цель государства — „возможное благоденствие всех и каждого“. Но так как благоденствие общественное должно считаться важнее благоденствия частного, то „истинною целью государственного устройства должно непременно быть возможно большее благоденствие многочисленного числа людей в государстве“. Выгоды части ниже выгод „совокупности или массы народа“. Правительство — принадлежность народа, а не „народ для благ правительства“.

Ввиду отсутствия в России точных и определенных законов, на которых покоится гражданское общество, страна нуждается в коренной реформе. Но „народы, возмечтавшие о возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в ходе государственного преобразования, впали в ужаснейшие бедствия и были вновь покорены игу самовластия и беззакония“. Отсюда необходимость, по Пестелю, постепенных мероприятий. Первою ступенью к их осуществлению, а вместе с тем гарантией неизменности намеченных целей, является издание „Русской Правды“, как наказа Верховному Правлению. Издание, принятие и обнародование „Русской Правды„ является нормированием русла „революции“. Недостаток в такой грамоте ввергнул многие государства в ужаснейшие бедствия и междоусобия. „Русская Правда“ точно определит, как поступать и Временному Верховному Правлению и народу, который будет знать, „для чего он освобожден“ и что он „ожидать может“.

„Русская Правда“ делится на десять глав, но не все из них закончены и не все сохранились. В полном виде

до нас дошли первые пять отделов: об административном делении страны, о народах, Россию населяющих, о сословиях, об общем политическом состоянии и о гражданском состоянии.

Основные мысли его таковы: Россия—единая и нераздельная, отнюдь не федеративная; все племена, ее населяющие, кроме Польши, становящейся самодержавной, руссифицируются; все жители получают полную гражданскую и экономическую свободу. При политическом однообразии — разнообразие хозяйственных постановлений в разных областях. Демократии дается возможность выявить максимум прав и желаний. Россия не мечтает о завоеваниях, а заботится только „о водворении благоденствия“, т.-е. о хорошем экономическом устройстве.

Образ правления—республиканский. Династия удаляется или уничтожается. Рабство отменяется. При этом всякая аристократия, хотя бы на богатствах и имуществах, хотя бы на привилегиях и правах родовых основанная, должна быть совершенно и навсегда отвергнута. В государственном устройстве Пестель резко подчеркивает принцип государственной централизации и совершенно отрицает идею федеративного устройства, ставшую популярною после опубликования конституционных начал Северо-Американских Штатов. § 4-й „Русской Правды“ решительно заявляет: „Россия есть, государство единое и нераздельное“.

В области экономических вопросов „Правда“ Пестеля занимает особое, притом выдающееся место. Недаром А. И. Герцен назвал Пестеля „социалистом до социализма“. Экономические идеи Пестеля представляют собой интересное и своеобразное сочетание воззрений физиократов, якобинцев и коммунистов эпохи Великой Французской Революции,—сочетание, на котором Пестель построил как свою экономическую программу, так и свою двойственную систему комбинаций частной и общественной собственности и свое физиократическое пристрастие к сельской культуре.

Экономические основы программы „Русской Правды“ весьма определенны.

Вот ее главные тезисы:

1) Большие города чрезвычайно вредны, особенно для нравственности, которая должна быть признана „первым богатством каждого народа“.

2) Рабство — „гнуснейшее преимущество владеть другими людьми“ — „должно быть решительно уничтожено“.

3) Лучшая система создания народного богатства — „дарование свободы“, которая должна иметь место как в торговле, так и в промышленности.

4) Из занятий населения — важнейшее земледелие.

Вообще в экономической области Пестель полагает, что необходима свобода; „главная необходимость для промышленности“, лучший способ для доставления народному богатству возможности процветать, состоит в даровании свободы. Но „городам покровительствовать более, чем селениям, нет никакой надобности, ни причины“, тем более, что земледелие — самое необходимое занятие, а особенно в России.

Определенность Пестелевых симпатий к физиократам заставляет его негодовать на городскую культуру и усиленно интересоваться аграрными отношениями. „Большие города,—говорит он,—чрезвычайно вредны, особенно для нравственности, которая признана быть должна первым богатством каждого народа“. Неверною считает он мысль современников, что „земледелие есть последний из всех промыслов“. Наоборот, это — необходимейшее занятие, которое должно быть в „уважении и почтении“.

По вопросу о праве собственности на землю Пестель знает две противоположные точки зрения — защитников частной собственности и ее принципиальных противников. Он ясно и точно формулирует взгляды обоих направлений. Воззрения первого излагаются Пестелем в „Русской Правде“ в следующих выражениях: „Земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц, и посему не может быть она разделена между несколькими только людьми за исключением прочих. Коль скоро существует хотя один человек, который никаким обладанием земли не пользуется, то воля Всевышнего и закон природы

совершенно нарушены и естественные права человека устранены насилием и зловластием". Противоположная тенденция изложена Пестелем так: „Второе мнение, напротив того, объясняет, что труды и заботы суть источники собственности, и что тот, который землю удобряет и оную способной к произведению разных произрастаний сделал, тот и должен иметь исключительное на ту землю право обладания".

Пестель не становится целиком ни на одну из этих точек зрения: он сочетает их обе. Пестель коммунист, насколько вопрос касается доставления каждому члену государства той площади земли, которая вполне обеспечивает „необходимое для жизни", но он—защитник частного землевладения, поскольку оно необходимо „для приобретения и сохранения изобилия". При коммунизме, как бы думает Пестель, неизбежно оскудение земледельческими продуктами, чего следует избежать.

Исходя из этих положений, Пестель и строит свою дуалистическую аграрную программу, памятуя о прогрессе сельского хозяйства и об обеспечении каждого землею. Для такого „правильного развития" земледелия и для наделения всех землею Пестель предлагает своеобразную полусоциалистическую, полуиндивидуалистическую программу решения аграрного вопроса. Он предлагает разделить все земли в каждой волости на две половины, из коих одну отдать, под названием общественной земли, в собственность всему волостному обществу (как целому), а другую, под названием казенной, оставить собственностью казны, и считать землею, входящею в состав частных имуществ.

Первая—неподвижна и неприкосновенна, из второй могут делать приобретения частные лица.

„Земля общественная,—полагает Пестель,—будет всему волостному обществу совокупно принадлежать и неприкосновенную его собственность составлять; она ни продана ни заложена быть не может. Она будет предназначена для доставления необходимого всем гражданам без изъятия и будет подлежать обладанию всех и каждого". „Земли частные будут принадлежать казне или частным лицам, обладающим оною с полною свободою и право имеющим делать на оной, что им угодно. Сии земли будут предназначены для образо-

вания частной собственности, служить будут к доставлению изобилия".

Так создается параллельно с коммунальным владением и частное землевладение. „Частная земля каждой волости имеет быть роздана участками всем в вечную и полную частную собственность". На этих землях будут работать только вольные земледельцы. „Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми". Вот реформа, которая требует немедленного проведения. „Обладать другими людьми"—дело постыдное, противное человечеству, законам естественным, святой вере христианской, противное, наконец, заповедной воле всевышнего, гласящего в священном писании, что „люди перед ним все равны".

Проникнутый пламенным желанием освободить рабов, Шестель думает, что его убеждения разделяются всем дворянством. Но „если бы, паче чаяния, нашелся изверг, который бы словом или делом вздумал бы сему действию (т.-е. освобождению) противиться или оное осуждать, то Временное Верховное Правительство всякого такого злодея без изъятия должно немедленно взять под стражу и подвергнуть строжайшему наказанию, как врага отечества и изменника противу первоначального коренного (т.-е. исконного и основного) права гражданского". Вообще он надеется, что найдется немного дворян, закосневших в своих враждебных против массы народной предрассудках и думающих, что вся Россия для них одних существует, а если и найдутся такие „недостойные сыны отечества", то их „свирепый нрав должно укротить решительными мерами при полной, скорой и непреклонной строгости".

ЛИТЕРАТУРА О ДЕКАБРИСТАХ.

I. Общие обзоры.

Записки декабристов. Вып. 1, 2 и 3. Лондон. Издание Герцена, 1862—1863.

Пыпин, А. Н.: Общественное движение в России при Александре I, первое изд. 1871, 2 изд. 1885.

Богданович, М. И.: История царствования императора Александра I. „В России в его время", том VI ой, 1871.

Дубровин, Н. О.: Русская жизнь в начале XIX столетия, в журн. „Русск. Старина“, 1898—1899, 1901—02 гг.

Его же: После отечественной войны, там же, за 1903 г. №№ 1—5 (О Союзах „Спасения“ и „Благоденствия“).

Фомин, А. А.: Новый историко-литературный клад, в журн. „Русская Мысль“ 1906, № 4 (архив братьев Тургеневых).

Котляревский, Н. А.: Литературные настроения Александровской эпохи, Спб., 1907, 2-ое изд. 1912.

Архив братьев Тургеневых. изд. Имп. Акад. Наук, Спб. 1911. Том I (ред. Тарасова), том II (ред. Истрина).

Щеголев, П. Е.: А. С. Грибоедов и декабристы, исследование по архивным материалам. Изд. А. Суворина. Спб., 1905.

Довнар-Запольский, М. В.: Мемуары декабристов. Киев, 1906.

Его же: Идеалы декабристов. Москва, 1907.

Его же: Тайное Общество Декабристов. Москва, 1906.

Его же: Декабрьская революция 1825 г., в журн. „Голос Минувшего“ за 1917 г. №№ 7—8.

Семевский, В. И.: Политические и общественные идеи декабристов. Спб. 1909.—Основное сочинение В. И. Семевского. Кроме того полезны статьи В. И. Семевского. По свидетельству самого автора, статьи эти только „примыкают“ к этому труду, но „или вовсе не включены в него, или лишь частью вошли в его состав“. Статьи Семевского, касающиеся декабристов:

Семевский, В. И.: Декабристы-масоны, в журн. „Минувшие Годы“ 1908. №№ 2, 3, 5 и 6.

Его же: М. А. Фонвизин. Бар. В. И. Штейнгель, два биограф. очерка в „Общественное движение в России в первую половину XIX века“. Спб. 1905, том I.

Его же: И. Д. Якушкин. Энцикл. слов. Брокгауза.

Его же: Н. И. Тургенев, там же.

Его-же: И. В. Поджио, в „Галлерее Шлиссельбургских узников“, т. I.

Его же: Н. И. Тургенев и крестьянский вопрос в царствование Александра I, в журн. „Вестник Европы“ за 1909, №№ 1—2.

Его же: Вопрос о преобразовании государственного строя России (Дмитриев-Мамонов), в журн. „Былое“, февр. 1906.

Вишницер, М.: Геттингенские годы Н. И. Тургенева, в журн. „Минувшие Годы“, 1908, №№ 5—6.

Головачев, П. М.: Декабристы. 86 портретов. Москва, 1906.

Ковалевский, М.: Русская Правда Пестеля, в журн. „Минувшие Годы“, 1908, № 1.

Розен, бар. А. Е.: Записки декабриста. 1 издание. Лейпциг, 1870. 2 изд. Щеголева, Спб., 1906.

Пестель, П. И: Русская Правда. Наказ Временному Верховному Правлению, ред. П. Щеголева (изд. Прометей), Спб., 1906. По мнению проф. Довнар-Запольского, Русск. Правда „издана

Щеголевым весьма неисправно", тоже по мнению Семевского „издано в высшей степени неисправно".

Сыромятников, Б.: Политическая доктрина в наказе Пестеля, в сборнике статей в честь Ключевского. Москва. 1909.

Павлов-Сильванский, Н.: Пестель, „Госиздат". 1919.

Щеголев, П. Е.: Зеленая лампа. Спб. 1908.

Его же: Первый декабрист Владимир Раевский. 2 изд. Т-ва „Общ. Польза". Спб 1906.

Его же: Петр Григорьевич Каховский. Спб. 1907, то же в „Былое", за 1906, № 1. Тоже Москва („Альциона"). 1919.

Шильдер, Н. К.: Имп. Николай I. Том I. Спб. 1903.

Бобров, Е.: Образовательный ценз декабристов. „Сборник Ученo-Литер. О-ва при Юрьев. Университете", Юрьев. 1908, том XI.

Выдрин, Р.: Национальный вопрос в русск. освоб. движении, в журн. „Голос Минувшего" за 1905, №№ 1 и 2.

Герцен, А. И.: 14 декабря 1825 года. В полн. собр. соч., том IX.

Греч, Н.: Записки о моей жизни. Спб. 1886.

Левин и Покровский: Декабристы, в „Истории России в XIX веке". Москва (Гранат). 1907, в. I и III.

Коробка, Н.: Польские общества 20-ых гг. и декабристы, в сборнике „Минувшее". Спб. 1909.

Тарасов: Русские геттингенцы и их влияние на развитие либерализма, в журн. „Голос Минувшего" за 1914, № 7.

Майков, Л. Н.: Пушкин. Спб. 1899.

Мякотин, В. А.: Из истории нашего общества Спб. 1902.

Максимов, С. В.: Сибирь и каторга. 3 т. Спб. 1871.

В. А. Жуковский и его отношение к декабристам, в журн. „Русская Старина" за 1902, кн. IV.

Дмитриев-Мамонов: Декабристы в Западной Сибири.

Шильдер, Н.: Междуцарствие в России с 19 ноября по 14 декабря 1825 года, в журн. „Русская Старина" за 1882, том 35.

Корф, бар.: Восшествие на престол имп. Николая I.

Мякотин, В. А.: Декабристы. Заметка в Энцикл. слов. Граната, том XVIII, 2 изд. Спб.

Павлов-Сильванский, Н.: Материалисты двадцатых годов, в журн. „Былое" за 1907, № 7.

Слонимский, А. Л.: Пушкин и декабрьское движение. Сочинения Пушкина под ред Венгерова, том II.

Сиповский, В. В.: Пушкин и Рылеев, в сборнике „Пушкин и его современники", в. III Спб. 1905.

Котляревский, Н.: Литературная деятельность декабристов, в. I. В. К. Кюхельбекер, журн. „Русское Богатство" 1901. № 3.

Пиксанов, Н.: Грибоедов и А. А. Бестужев. Изв. Отд. рус. яз. и слов. Академии Наук, том XI, 1906, книга 4.

Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства, под редакцией А. К. Бороздина. Спб. 1906.

Павлов-Сильванский, Н. Декабрист Пестель перед Верховным Уголовным Судом. „Былое“, 1906, №№ 2—4 и отдельно „Рус. Истор. библиотека“, № 15, Р. на Д., 1907.

Schimann: Die Ermordung Pauls, die Thron-Besteigung Nikolaus I.

Русанов, Н. С. Влияние европейского социализма на декабристов и молодого Герцена. В журнале „Минувшие Годы“ за 1908, книга XII.

Ковалевский, М. М.: „Русская Правда“ Пестеля, в журн. „Минувшие Годы“, 1908, № I.

Русанов: Социалисты Запада и России. Спб. 1908.

Более подробные указания на литературу о ходе движения, дне 14 декабря, суде, следствии и пр. в книге Шилова, Л. А. Что читать по истории русского революционного движения? Петроград, 1922.

Относительно отдельных декабристов Кондратия Рылеева, Павла Пестеля, Петра Каховского, Михаила Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева-Апостола см. Шилов, А. А.

Многие из декабристов оставили свои Записки; ныне напечатаны записки Д. Свербеева, Д. Завалишина (1903—4), И. Якушкина (1862 и 1905), А. Беляева (1881), А. Гангблобова (1888), Басаргина (1872), Н. Лорера (1904), С. Волконского (1901), И. Горбачевского (1916), кн. С. Трубецкого (1907). Воспоминания братьев М. Н. Бестужевых (1917), бар. А. Розена (1900), В. Зубкова (1906), М. Орлова (1906). Рылеев, К. Ф.: Сочинения, 1 изд. 1872, 3-е 1906. О нем Котляревский, Н. А, Рылеев, К. Спб. (1900). Материалы для биографии. Лейпциг (Каспрович), (1875). Маслов, В.: Литературная деятельность Рылеева. Киев. 1912.

ГЛАВА VIII.

ФРИТРЕДЕРСТВО и ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

1.

Школа Смита выражала классовые интересы английской буржуазии конца XVIII века, ставшей настолько сильною, что она могла уже требовать для своей страны полной экономической свободы. Но молодые буржуазные страны, выступившие позднее на мировой рынок, стремились к защите

и покровительству. Поэтому к концу первой четверти XIX столетия школа Адама Смита естественно распалась на два противоположных лагеря: фритредеров, или манчестерцев, защитников идеи свободной торговли и полного невмешательства в ход экономической жизни (Англия, Франция), и протекционистов, их противников, отстаивавших свои местные, национальные интересы (Германия).

Воззрения русских экономистов этого времени также должны были расколоться на два течения, исходивших в своей основе из классового учения классической школы. Представителем нашего фритредерства был в двадцатых годах декабрист Николай Иванович Тургенев и журнал „Дух Журналов", в сороковых годах—Бутовский, Вернадский и его журнал „Экономический Указатель", в 60-х—Бакст, Горлов и Тенгоборский, Гагемейстер, Степанов, Чвилев, Гейсман, Лехановский, Осокин. Все они стояли на защите интересов русского экспорта сельскохозяйственных продуктов.

Иначе смотрели охранители и защитники русского промышленного капитала. Они были сторонниками таможенного тарифа.

Русский протекционизм начинается графом Николаем Семеновичем Мордвиновым, поддерживается затем графом Канкриным, позднее его друзьями являются—Д. И. Менделеев и граф. С. Ю. Витте.

2. Николай Иванович Тургенев (1789—1871).

Н. И. Тургенев—родовитый дворянин Симбирской губ., сын директора московского университета, получил высшее образование в московском, а затем геттингенском университете, где проникся идеями Адама Смита в изложении его ученика Сарторпуса. С 1813 года служил при известном прусском реформаторе бароне Штейне, а с 1818 года, вернувшись в Россию, вступил в число членов тайного общества „Союз Благоденствия", где влиял на выработку экономической программы декабристов. В 1818 году он написал свой основной труд: „Опыт о теории налогов", составленный по Сарто-

риусу, но с рядом примеров из русской жизни, а потому остававшийся лучшим русским сочинением в этой области в течение ряда лет. В 1819 году Тургенев по просьбе петербургского губернатора гр Милорадовича, убитого декабристами при восстании 1825 года, составил записку по крестьянскому вопросу, где определенно высказался за освобождение крестьян от крепостной зависимости. Пребывание Тургенева в 1825 году за границею, в Лондоне, спасло его от расправы, постигшей декабристов.

Суд Николая I приговорил его заочно к смертной казни, смягченной ссылкою на вечную каторгу. Правительство Николая I требовало от Англии выдачи „преступника", на что согласия не последовало, но это заставляло Тургенева до 1833 года избегать континентальных стран Западной Европы.

За границею он написал трехтомный труд „La Russie et les Russes" (Париж, 1847), проникнутый политическим либерализмом и требованиями эмансипации крестьян. Это было единственным в жалкую эпоху Николаевского мракобесия трудом, где обстоятельно развивались идеи русского политического либерализма. Амнистия 1855 года позволила Тургеневу вернуться на родину, но престарелый декабрист только навещал Россию (в 1857, 1859 и 1864 гг.), продолжая жить за границею. Тургенев принял деятельное участие в обсуждении вопроса об освобождении крестьян и в период с 1858 по 1869 гг. выпустил ряд брошюр, посвященных как крестьянской эмансипации, так и связанным с нею реформам. Он скончался под Парижем, 82-летним старцем, 29 октября 1871 года.

Две сферы экономических вопросов горячо интересовали Тургенева—вопрос о налогах и положение крестьян. Это сочетание интересов напоминает физиократов, усматривавших залог прочного развития народного хозяйства в благоустройстве сельского населения и в порядке налогов. Но это сходство чисто-внешнего характера, объясняемое русскими условиями, в которых бесправие крестьянства и его угнетение налоговой системою было особенно вопиющим делом. В своей основе Тургенев был убежденный смитианец того фритредерского толка, который руководился воззрениями Жана-Баптиста Сэ. Как и все фритредеры, Тургенев отставал

принципы экономического либерализма, т.-е. интересы молодой, экспортировавшей хлеб буржуазии. Он стремился к полной свободе торговли и энергично восставал против высоких таможенных пошлин и тяжести неравномерного налогового обложения, падающего только на крестьянство.

В области финансовой науки Н. Тургенев был, до известной степени, пионером. Он в своем исследовании—„оазисе в русской пустыне", по выражению академика Янжула — опередил западно-европейскую науку, дав талантливое изложение новой отрасли экономического знания—учения о налогах. Первое издание „Опыта о теории налогов" (вышло в 1818 г.) было первым появившимся в России истинно-научным сочинением этого рода, отличающимся к тому же, помимо обширной эрудиции и глубокой продуманности, редким общественным настроением. „Опыт" имел чрезвычайный успех [1]), через год уже потребовалось новое издание, что было для того времени явлением необычным. В основу его положена идея, что „никакая теория, как экономическая или финансовая, так и правительственная, не может принести хороших результатов, если она не основывается на свободе".

Основы познания свободы дает, по мнению Тургенева, наука; она же приводит и к благосостоянию. „Образованность и просвещение, утверждая независимость, сделались (ныне) источником и славы и могущества",—говорит Тургенев. „Самое благосостояние народов сделалось вместе и орудием и залогом свободы". Наукою, которая „открыла тайны богатств народов" и „представляет истинные правила", — является политическая экономия. Одним из важнейших отделов последней и служит учение о финансах с теорией налогов.

---

[1]) О книге Тургенева академик Янжул дает следующий восторженный отзыв: „Если бы это сочинение было в свое время издано на языке более распространенном в Западной Европе, оно заняло бы видное место между лучшими в начале XIX в. трудами по теории налогов и осталось бы на них не без влияния. Автор основательно изучил экономическую литературу Германии, Англии и Франции и, в отличие от большинства русских писателей того времени, по своим воззрениям в некоторых отношениях является даже оригинальным. Книга его подробно трактует все вопросы о налогах, начиная от их происхождения и источника до описания различных видов и общего действия, причем бумажные деньги рассматриваются, как особый вид налогов. С обширными сведениями автор соединяет тонкий аналитический ум и дар прекрасного изложения". И. Янжул: „Российская финансовая наука" Энциклопедический словарь Брокгауза, т. XXVIII. Спб., 1900 г., стр. 855.

Излагая научную систему, Тургенев всегда держится своего основного взгляда, которым проникнута каждая строка его сочинений. „Не должно смешивать права требовать податей, говорит он, с правом налагать оные". Последнее иногда ограничено, ограничено „согласием народа". „Но согласие со стороны народа может быть действительно и полезно только в тех государствах, которые пользуются сущностью, а не одними только формами гражданской свободы" (стр. 12).

Все „благое", — неустанно твердит Тургенев, — основывается на свободе. На развитие знаний в России. Тургенев, увлекаемый общественным подъемом того времени, смотрит весьма оптимистично. „В нашем отечестве, — говорит он, — сведения по части политической экономии начали распространяться с очевидным успехом. Даже иностранцы, занимающиеся этою наукою, с удовольствием замечают, что во всех русских университетах учреждены для политической экономии особые кафедры". „Занимающийся критически научается верить только исследованиям и соображениям рассудка, простому здравому смыслу и всему тому, что все благое основывается на свободе, а злое — на противлении ей". Эта идея, повторяем, является у Тургенева основным лейт-мотивом, точкою зрения, все освещающею и так расходившеюся с общим настроением „благомыслящих" того времени... „О! несчастное слово вольность!.. — писал крепостник-обозреватель западной жизни в „Духе Журналов" в 1817 г. (часть XXIII, стр. 339). — Здешние мужики все вольны — вольны, как птицы небесные, но так же, как они, бесприютны и беззащитны, погибают от голода и холода. Как бы они были счастливы, если бы закон поставил их в неразрывной связи с землею и помещиками!.."

Что касается научного содержания труда Тургенева, то оно вполне выдерживает сравнение с лучшими европейскими сочинениями того времени. Все отделы рассмотрены с равною полнотою и в связи с требованиями жизни. Основная мысль его налоговой системы — возможное облегчение налоговой тяготы крестьянства и привлечение к ней привилегированных сословий. Самый способ взимания, по мнению Тургенева, должен быть коренным способом улучшен: вместо обло-

жения заработной платы—взимание должно производиться только с чистого дохода. Освобождение от налога должно коснуться и предметов первой необходимости, обложение которых весьма вредно с точки зрения народного благосостояния. Неисправные плательщики не должны быть наказуемы, особенно телесно, так как обложение должно касаться не физического „лица податного", а его имущества. Лишение свободы за недоимки—совсем безрассудное средство. Тургенев особенно выразительно отмечает, что „во многих государствах введение налога делается с согласия народных представителей". „Там польза,—продолжает он,—ощутительна не только для народа, но и для самого правительства. Согласие со стороны народа для введения налогов может быть действительно и полезно только в тех государствах, которые пользуются сущностью, а не одними только формами гражданской свободы" (стр. 13). Образ правления и „дух народный" определяют и успешность налогов; „готовность уплачивать налоги всего более видна в республиках, отвращение к налогам—в государствах деспотических. Век кредита наступает для всей Европы",—заканчивает свою книгу Тургенев. „Усовершенствование системы кредитной пойдет наряду с усовершенствованием политического законодательства, в особенности с усовершенствованием системы народного представительства".

Книга Тургенева пользовалась громадным для того времени успехом, хотя ретроградное большинство русского общества высказывалось против его идей. Однако в Сперанском, Мордвинове и гр. Потоцком, особенно в последнем, Тургенев нашел себе горячую поддержку.

Даже противники, не соглашаясь с основными взглядами, отдавали должную дань знаниям и талантам Тургенева. Так, реакционер Греч писал в своих „Записках": „Н. И. Тургенев приобрел глубокие познания в финансовой науке и твердое убеждение о законности, свободе и равенстве людей".

Лучший и вполне научный отзыв о книге Тургенева дал в том же году его друг, известный в свое время профессор Куницын на страницах „Сына Отечества"[1]. Рецензент отме-

[1]) Куницын. „Сын Отечества", 1818 г. № I и LI

чал, помимо высоких научных достоинств, также общее гуманитарное ее направление. „Тургенев,— писал Куницын,—желает согласить систему финансов с народною нравственностью и подчиняет правила теории налогов—правилам человеколюбия и справедливости; он восстает против тех сочинителей политических трактатов, которые, при торжественных уверениях их в любви к отечеству, проповедуют правила, угнетательные для их сограждан". Куницын находил, что книга Тургенева сделала такую же эпоху в финансовой науке, как книги графа Верри по государственному и Адама Смита— по народному хозяйству. Восторженный журнальный отзыв Куницына был во втором издании Тургенева перепечатан сейчас же после авторского предисловия.

При своем появлении труд Тургенева не встретил никаких цензурных затруднений, но спустя семь лет, когда автор его был осужден, книга подверглась гонению: разысканные полициею экземпляры были отобраны и уничтожены.

На обложке первого издания „Опыта теории налогов" автор поместил многознаменательное изречение: „Сочинитель, принимая на себя все издержки печатания сей книги, предоставляет деньги, которые будут выручаться за продажу оной, в пользу содержащихся в тюрьме крестьян за недоимки в платеже налогов".

И действительно, Тургенев с пламенным героизмом относился к участи крестьян и, в числе немногих, горячо ратовал за их освобождение.

Крестьянский вопрос Тургенев понимал так же, как лучшие люди его времени, т.-е. он не только определенно высказывался за немедленное освобождение крестьян, но и ставил своею обязанностью согласовать свое слово с делом. В немецком освободительном движении, в котором Тургенев принимал деятельное участие, вначале как студент геттингенского университета [1]), затем как помощник знаменитого

[1]) В первые годы XIX в. симпатии к освобождению крестьян были среди всей геттингенской молодежи, не исключая и русской, весьма значительны. Написанная по-французски книжечка одного русского чиновника (Фрейганга) и по-латыни—диссертация некоего Кайсарова—были посвящены этому вопросу (см В. И. Семевский: „Крестьянский вопрос в России в XVIII веке", стр. 286)

Штейна, крестьянский вопрос был центральным вопросом времени. Члены Tugendbund'a давали Ганнибалову клятву: „освободить своих рабов от вековых цепей". Как мы говорили, в 1819 г. он по просьбе Милорадовича написал небольшое сочинение об отмене крепостного права, предназначавшееся для императора Александра I. В нем Тургенев настаивает на правительственной инициативе в деле ограничения крепостного права и на необходимости облегчения бремени барщины, варварской системы продажи людей по одиночке, уничтожения жестокого обращения и предоставления крестьянам права жаловаться на помещиков. Кроме указанных мер, Тургенев предложил сделать некоторые изменения в законе 1803 года о свободных хлебопашцах и, между прочим, разрешить помещикам удерживать за собою право собственности на земли и при заключении с крестьянами добровольных условий, т.-е. освобождать целые вотчины без земли, а крестьянам предоставлять право перехода.

Всюду, где Тургенев касался крестьянского вопроса, он становился мужественно-красноречив и благородно-смел. „Принадлежа сам,—писал он,—по своему происхождению к классу рабовладельцев, я с младенчества узнал те ужасные условия, в которых мучаются миллионы русских людей. Народ в цепях рабства—вопиющее зрелище; явная несправедливость его поразила юношеское воображение. В душе остался неизгладимый след"... Крестьянский вопрос был для Тургенева центральным фокусом жизни. „Все вопросы были подчинены этому вопросу, все думы и все братское чувство". Тургенева поэтому можно вполне справедливо назвать одним из важнейших пионеров эмансипации крестьян и одним из благороднейших деятелей освободительного движения той эпохи.

Н. И. Тургеневу, в числе немногих из его сверстников, удалось дожить до эпохи шестидесятых годов, осуществивших в деле крестьянского права заветные мечты его юности.

Как экономист, Тургенев примыкает к фритредерскому толку смитовой школы. Он искренне удивляется тем, которые „требуют запрещения иностранных сукон и притом и не подозревают, что можно покупать сукна у иностранцев дешевле и лучшей доброты в сравнении с своим,

а деньги, употребляемые на выделывание собственного сукна, употреблять другим, более выгодным и более приличным образом для государства". Смитианство Тургенева не было простым подражанием или „изложением" части знаменитого труда А. Смита, как то старается уверить один русский исследователь, написавший прекрасный очерк, посвященный Н. И. Тургеневу [1]). Смитианство Тургенева—дань веку; относительно же смитианства вообще необходимо заметить, что влияние этого учения не исчерпывалось одним распространением взглядов в первых годах века. Оно определенно отразилось и на следующих годах, когда широкое распространение в русском образованном обществе смитианства создало почву для энергичной агитации в пользу свободной торговли.

3. Фритредеры в России.

Во главе движения в пользу свободной торговли стал влиятельный еженедельный журнал „Дух Журналов", издававшийся в Петербурге с 1815 по 1820 г. „Дух Журналов" был ранней цитаделью русского фритредерства. Отсюда велась страстная защита идей свободной торговли, отсюда же делались энергичные вылазки против протекционистов, отстаивавших интересы промышленности и фабричного производства.

Главная масса статей, особенно 1816 г., сводилась к настойчивой полемике, имевшей, в конце концов, практический успех [2]).

Проповедь свободной торговли продолжалась и в последующие годы. В 1817 г. редакция помещает типичную для того времени статью: „О народном благосостоянии от заграничной торговли, производимой природными жителями". „За-

[1]) А. Корнилов: Никотай Ив. Тургенев и „Союз Благоденствия", стр. 17, в сборнике: „Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России". Спб., 1905 г., и раньше в журнале „Мир Божий" за 1903 г., кн. 6, 7 и 8.

[2]) „Теперь,—сообщает в марте 1816 г. редакция „Духа Журналов",—можно прекратить все споры о мануфактурах и тарифе. Монополисты побеждены! „Дух Журналов" не вотще подвизался. Да здравствует мудрое, благодетельное правительство!

граничная торговля,— пишет анонимный автор,—процветает там, где правительство, не мешаясь в ход ее, отвращает только все препоны, могущие затруднять оный. Когда препоны отняты, то капиталы сами изыщут для себя, что им прибыльнее, и туда обратятся". Но для стран, „где сия торговля находится еще в младенчестве", необходимо прежде всего развитие „духа предприимчивости", создаваемого исключительно путем „просвещения негоцианта". Звание же последнего, даваемое по проекту автора только специально воспитанным и утонченно образованным лицам, должно резко отличаться и значительно превосходить звание купца „Приличное звание" и „понятие" о нем создадут стимул активного поведения, ибо „без сего понятия и гордости нет предприимчивости и нет заграничной торговли". Мешать иностранцам у себя торговать не надо, „но нужно возбудить в своем народе до такой степени соревнование, чтобы иностранец не находил уже выгоды делаться на время подданным чужого государства". Это находится в связи с целью общих причин экономической эволюции разных стран или со „степенью государств", как выражается автор. Таких „степеней", по его мнению, шесть: 1) от цветущего состояния хлебопашества умножается народонаселение; 2) от населения происходит избыток в народе; 3) от избытка в людях трудность в пропитании; 4) от недостатка в пропитании рождается промышленность; 5) от промышленности цветет внутренняя торговля; 6) от просвещения только негоцианта возникает заграничная торговля, не зависящая(!) от пяти первых степеней". „Россия еще не достигла до второй степени, но и достигши даже до четвертой, фабрики наши будут все же в младенчестве, и даже в пятой торговля все еще остается в руках иностранцев, а государство бедно. Но если будут настоящие из природных россиян негоцианты, то вступят на степень шестую, а с тем вместе возникнут новые капиталы, народное просвещение, науки, изящные художества, фабрики, лучшее хлебопашество, машины, словом—все подобно Англии, и тогда только пойдет быстрыми шагами по всем пяти первым степеням, подобно Американской республике. Ибо одна заграничная торговля, природными жителями производимая и духом пред-

принимчивым руководимая, ведет к государственному богатству, от которого все прочее зависит" („Дух Журналов", 1817 г., часть XIX, стр. 54). Вообще Смит и Сисмонди — главные авторитеты этого журнала.

Для стран, где консервативные традиции особенно прочны, Адам Смит оставался авторитетом и после его отрицания на Западе. В 20-х годах, когда уже были формулированы первые серьезные возражения против основ смитианства, у нас безмятежно почитали Смита верховным экономистом. Так, напр., в харьковском университете профессор Паулович читал политическую экономию и науку о финансах отчасти по Адаму Смиту, преимущественно же по совсем старому сочинению Шлецера [1]). а проф. петербургского университета Бутырский читал те же предметы на „философско-юридическом" факультете по теории Адама Смита, с прибавлениями из сочинения Сея „Traité d'économie politique" и некоторых других. К главнейшим выводам Сея и примыкает Тургенев, этот первый сознательный русский фритредер. В фритредерском духе был составлен либеральный тариф 1818 г. и издавался журнал „Дух Журналов".

Надо вообще заметить, что среди различных экономистов-либералов у нас особенный успех имел известный французский фритредер Ж. Б. Сей, труды которого рано были переведены на русский язык. Так, уже известный своим переводом А. Смита Николай Политковский перевел и издал Сея под заглавием: „Сокращенное учение о государственном хозяйстве, или дружественные разговоры, в которых объясняется, каким образом богатство производится, делится и потребляется в обществе" (Спб., 1816 г.). В этом же году появилась и другая книжка Ж. Б. Сея: „О торговом балансе" (Спб., в типографии Плавильщикова, 1816). Наконец, вышел памфлет Сея „Об Англии и англичанах" (Спб., 1817) [2]).

Кроме этих книг наши фритредеры того времени имели возможность прочесть следующие книжки:

---

[1]) Сухомлинов, М.. Исследования и статьи. Т. I, Спб., 1839 г., стр. 235

[2]) Затем, уже в другое время были изданы его „Начальные основания". М., 1828 г. и „Катехизис политической экономии", Спб., 1833 г.

1) Карла Арнольди: „Мнение о системе тарифа в России“ (Спб. 1816),—сочинение резкое и страстное; автор горячо нападает на промышленников, которым, по его мнению, все население России платит дань.

2) Перевод Кондильяка: „О выгоде свободной торговли“, сделанный Николаем Анмосовым, 2 ч. (Спб., в Морской типографии, 1817). и

3) Неизвестного автора: „Рассуждения о тарифе“, Спб. 1816 г.

Конец 20-х годов принес нам антифритредерские настроения. Под влиянием графа С. Н. Мордвинова и Е. Ф. Канкрина, вновь поднял голову и окреп протекционизм. Но фритредерская оппозиция не иссякала после Тургенева: видным фритредером был Тодоровский.

Фритредерское течение после декабрьского восстания побледнело. Оно ожило в 40-х годах, с появлением противоположных ему стремлений к государственному вмешательству, и укрылось преимущественно в академической среде. Профессора Горлов, Бутовский, Бакст, Вернадский были наиболее талантливыми выразителями этого направления.

Александр Иванович Бутовский (1815 — 1890) в 1847 году издал трехтомное сочинение: „Опыт о народном богатстве“, проникнутое фритредерскими идеями. Естественно поэтому, что Буговский отстаивал индивидуальную земельную собственность и был противником русской общины. Его статья „Общинное владение и собственность“ (1858 г.) вызвала ряд горячих протестов со стороны журналов „Современник“ и „Отечественные Записки“.

Больший след оставил Иван Васильевич Вернадский (1821 — 1884), автор ряда сочинений и издатель журнала „Экономический Указатель“ (1857—1861), где проводились наиболее крайние взгляды манчестерской школы. С Вернадским полемизировал Н. Г. Чернышевский по вопросу об общинном землевладении, на которое нападал Вернадский. Лучшими научными работами Вернадского считались: „Очерк истории потребностей“, Спб. 1857. и история итальянской экономической литературы („Критико-историческое исследование об итальянской ..“ и т. д.).

Наши фритредеры охотно занимались вопросами „раскрепощения капитала“, т.-е. вопросами создания в России кредита, обилия денег и содействия частной предпринимательской деятельности, в чем находили идейную поддержку со стороны других оттенков экономических течений того времени. Вопросами развития и насаждения в России денежного капитала теоретически и практически занимались кружок Е. И. Ламанского, умеренного сен-симониста, проф. П. Бабст, В. П. Безобразов и др.

ГЛАВА IX.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ.

1. Граф С. Н. Мордвинов и граф Е. Н. Канкрин.

Мордвинов и его деятельность все еще не нашли должной оценки. Между тем, как экономист, Мордвинов заслуживает названия русского Фридриха Листа, опередив создателя „национальной“ системы политической экономии на целую четверть века, что не мало для того времени. Оригинальность и глубина экономических воззрений Мордвинова была, впрочем, понята за границей, где имя его пользовалось известностью. Отсутствие систематического изложения взглядов, рукописный характер большинства его работ делают имя Мордвинова мало известным в широких слоях русского общества, а блестящие дарования и поразительная личная судьба его друга, Сперанского, затмили стойкую и благородную фигуру его верного единомышленника. Мордвинов, как и большинство людей перелома последних лет XVIII и первых XIX века — сам находится и других склоняет к новому в ту эпоху влиянию английскому. Вообще господствовавшее в дни расцвета царствования Екатерины французское влияние сменилось теперь английским от литературы до политики и экономии. Английские симпатии особенно ярки и сильны у С. Н. Мордвинова.

По своим основным экономическим убеждениям он—горячий последователь Адама Смита и Бентама, которых он ставит очень высоко. С Бентамом он переписывался.

„В моих глазах,—писал Мордвинов еще в 1806 г.,— Бентам—один из четырех гениев, которые сделали и сделают всего более для счастья человечества: Бэкон, Ньютон, Смит и Бентам: каждый основатель новой науки, каждый творец". Такое отношение к английской теоретической науке вносило новые горизонты в общее мировоззрение, особенно в ту эпоху, когда французские энциклопедисты давали основной тон всей немногочисленной интеллигенции тогдашней России.

Мордвинов придает большое значение методу не только в вопросах теории, но и в политике. „Нужна метода для применения хороших правил, иначе оные будут бесплодны. Метода,—говорит Бэкон,—заменяет гений и утверждает успех операций, больших и малых. Все, что ни сделано долговечное от создания мира, не иначе учинено, как усовершенствованием методы".

На народное богатство Мордвинов смотрел шире своих современников, и взгляды его по этому вопросу могли бы сделать честь любому из видных корифеев европейской науки того времени. „Только просвещение,—говорит Мордвинов,—начало народного богатства. Не руки человека дают плодородие земле, не ими процветают художества, торговля, промышленность; не ими умножаются и возрастают денежные капиталы: ум и наука суть истинные орудия богатства". Как либерал и провозвестник идеологии передовой европейской буржуазии, Мордвинов немедленно добавляет: но истинное просвещение и богатство возможны лишь в стране свободной. „Более 40 милл. душ народа составляют рабов казны и дворянского сословия. Ум и руки рабов неспособны к порождению народного богатства. Свобода, просвещение, собственность и правосудие — суть существенные и единственные источники оного"... „Дайте свободу мысли, рукам, всем духовным и телесным качествам человека, предоставьте всякому быть тем, чем его бог сотворил, и не отнимайте то, что кому природа особенно даровала,—говорит Мордвинов в другом месте.— Мера свободы есть мера приобретаемого богатства. Учредите общественную пользу на пользе частной". Но, как у большинства представителей феодально-буржуаз-

ного класса его времени, эти благородные слова резко расходились с его более детально формулированными мнениями, как только дело касалось кровного классового, крестьянского вопроса. В противоположность Н. И. Тургеневу, Мордвинов, как до него М. М. Щербатов и др., не был защитником освобождения крестьян и даже самое стремление к эмансипации считал несвоевременным. Политический либерал был в области народного хозяйства крепостником, так как это диктовал ему, наперекор образованию, его классовый инстинкт. Тот же более развитый инстинкт, чем у современников, яснее ставил ему необходимость защиты своей молодой промышленности. Он понимал, что Россия не в силах была итти по стопам Англии и, не будучи в состоянии бороться с ее конкуренцией, должна была стать на противоположную точку зрения, как то сделали впоследствии и другие континентальные страны во главе с Германией.

Протекционистские воззрения Мордвинова должны были коренным образом расходиться с господствующими фритредерскими взглядами того времени.

В это время в сфере экономической мысли повсеместно почти безпредельно царил Адам Смит. Идеи Смита и в России являлись руководящими, особенно в первом десятилетии XIX века. Смит был венчанный глава юной политической экономии. Впрочем, влияние А. Смита не исчерпалось одним распространением его взглядов в первом десятилетии XIX века. Оно определенно и сильно отразилось и на следующем десятилетии. Широкое распространение в русском обществе смитианства создало почву для восприятия и энергичной агитации в пользу свободной торговли.

К мнениям в защиту свободы торговли прислушивались и общество и правительство. Последнее одно время даже активно примкнуло к движению, которое тогда достигло наивысшей точки своего развития. И вот наступил временный праздник русского экономического либерализма; был выработан один из либеральнейших русских тарифов — таможенный тариф 1819 года. Итак, идея свободной торговли вместе со всеми ее логическими и экономическими выводами, т.-е. вместе с отрицанием государственного вмеша-

тельства и с признанием идеи „laisser faire“, с отрицанием таможенных учреждений и таможенной политики, вместе с отказом от покровительства туземной и борьбы с иностранною промышленностью, — казалось, отвоевала себе и в России почву.

Вот тут-то и выступил в защиту совершенно противоположного мнения Мордвинов. Он резко высказался против свободной торговли и еще определеннее действовал, как государственный деятель. Мысли Мордвинова были изложены в сочинении, являющемся вместе с тем первым русским трудом по банковому кредиту: „Рассуждение о пользах, мотущих последовать от учреждения частных по губерниям банков“. Книга вышла в 1813 году, имела выдающийся успех и даже была переведена на итальянский язык.

Здесь Мордвинов решительно становится на сторону нового „кредитно-земельного“ хозяйства, противоречившего в своей основе старому патриархальному укладу России, покоившемуся на натуральном хозяйстве, а также развивает ряд идей, воскрешающих, с одной стороны, старые меркантилистические теории и, с другой, пробивающих путь зарождавшемуся тогда на Западе протекционизму.

Впрочем, он не только протекционист-охранитель, но протекционист, желающий завоевать России новые рынки. В своей записке, поданной им в средине 1816 года: „Мнение о способах, коими России удобнее можно привязать к себе постоянство кавказских народов“, Мордвинов развивает целый план создания для русской промышленности внешнего азиатского рынка. Мирное завоевание Азии торговлей и промышленными изделиями даст России, по мнению Мордвинова, много больше, чем „наши ядра и штыки“.

Рост движения в пользу идеи свободной торговли заставил Мордвинова переиздать в 1817 г. свой первый труд. Это второе издание „Рассуждения о пользах банков“ вызвало обстоятельную рецензию некоего Д. Б. в „Духе Журналов“ (1818, кн. 16). Рецензент очень резко напал на Мордвинова, приводя все известные в то время аргументы в пользу идеи свободной торговли. Мордвинов не оставил своего критика

без ответа... Такова первая полемика фритредерства и протекционизма, разыгравшаяся впервые в России между смитианским вольнолюбивым журналом и суровым адмиралом. Мы знаем, что фактическая победа осталась на стороне последнего, но это был бесспорный проигрыш для дальнейшего развития русского народного хозяйства. Двенадцать лет спустя после второго Мордвинов выпустил и третье издание своего „Рассуждения". Здесь, между прочим, помещена (в приложении) рецензия мордвиновского сочинения, написанная известным в то время итальянским экономистом Мельхиором Джойя и помещенная в свое время в „Итальянской Экономической Библиотеке". По компетентному отзыву итальянского ученого, Мордвинов высказал еще в 1813 г. те соображения, которые спустя несколько лет дали заслуженную известность ряду немецких и французских экономистов.

Мордвинов, таким образом, значительно опередил Европу и по справедливости может считаться у нас первым сознательным русским протекционистом. Гневушев, автор монографии о Мордвинове, называет его „одним из важнейших экономистов и прозорливейшим идеологом нарождавшейся русской буржуазии".

В подкрепление указанному труду Мордвинов издает вторую свою замечательную работу: „Некоторые соображения по предмету мануфактур в России и о тарифе", вышедшую в 1815 г. а во французском переводе в 1816 г.[1]). Этот труд является наиболее выдающимся произведением нашего дореформенного протекционизма[2]). В предисловии к первому изданию Мордвинов указывает на тот антагонизм, с которым были встречены в свое время его идеи в прессе. „Большая толпа обыкновенных писак,—говорит он,—восстала против меня за то, что я советовал предпочитать собственные изделия иностранным, но спустя немногие годы все европейские государи последовали моим правилам".

---

[1]) Затем эта книга переиздавалась. Второе издание вышло в 1822 г., третье—в 1833 г. Из других сочинений Мордвинова заслуживает внимания „Некоторые замечания для управителей земледельческих поместьев", Спб., 1834 г., тоже 2 изд. с измененным заглавием: „О причинах всегда скудных и часто несовершенных урожаев в России", Спб. 1840 г.

[2]) Другое сильно протекционное сочинение: „Ответ русского гражданина", см. Туган-Барановский, Рус. фабрика, стр. 266.

II в этом сочинении независимость взглядов Мордвинова сказалась в полной мере. Здесь он совершенно расходится со своим учителем А. Смитом и ставит ему упрек в том, что он в своей теории весьма далеко ушел от практической жизни. Мордвинов в своих взглядах не был одинок: многие соглашались с его доводами, а некоторые писали в том же духе. Такова, напр., интересная анонимная брошюра: „Ответ русского гражданина на вопрос: полезно ли заводить в России и распространять мануфактуры, или лучше предоставить пространному сему государству обогащать себя земледелием“ (Спб., 1815 г.). В том же духе написана и записка статс-секретаря Ф. И. Энгеля: „Нечто о фабриках“ и некоторые другие сочинения того времени. Фритредерский „Дух Журналов“, стоявший на страже свободы торговли и интересов земледелия, всегда встречал резкою отповедью все подобного рода идеи и издания.

Вторым видным протекционистом первой трети XIX столетия был Егор Францевич Канкрин (1774—1845), писатель-экономист, с 1823 по 1844 г. министр финансов и граф Русской империи.

Канкрин и в своих сочинениях и в своей государственной деятельности был убежденным протекционистом.

Канкрину принадлежат следующие, написанные по-немецки и напечатаные преимущественно за границею, экономические сочинения:

„Ueber die Militair-Oekonomie im Frieden und Kriege und ihr Wechselverhaltniss zu den Operationen“. 3 т. 1820—1823 [1]).

„Weltreichtum, Nationalreichtum und Staatswirtschaft, oder Versuch neuer Ansichten der Politischen Oekonomie“. 1821.

„Краткое обозрение российских финансов“. 1838.

„Die Oekonomie der menschlichen Gesellschaften und das Finanzwesen. Von einem ehemaligen Finanzminister“. 1845. Русский перевод в „Библиотеке для чтения“ за 1846 г. Краткий конспект: „Граф Канкрин и его очерки полит. экономии“. 1894.

„Обзор примечательнейших действий по финансовой части в течение последних 20 лет“. Написано к марту 1843 г., напечатано в „Сборнике сведений и материалов по Мини-

[1]) До этого времени он опубликовал „Fragmente uber die Kriegskunst nach Gesichtspunkten der militairischen Philosophie“, 1809, 2-ое изд 1815.

стерству финансов". 1865 (сокращено), в полном виде (по-немецки) в книге „Aus den Reisetagebuchern des Georg Kankrin" aus den Jahren 1840—45. Mit einer Lebensskizze Kankrins. 1865. 2 т. Извлечения отсюда напечатаны в „Русском Архиве" за 1866 г.

Официальные записки Канкрина, носящие часто характер научных трудов, не собраны и не все напечатаны. Они касались вопросов районизации России, золотых промыслов, Сибири, овцеводства, питейного дела и пр.

Линия экономической политики, намеченная Мордвиновым и Канкриным, проводилась в России и дальше, особенно со времени усиления капитализма. Эпоха С. Ю. Витте была периодом особенного усиления протекционизма, причем бесчисленные ходатайства торгово-промышленной буржуазии, державшей в руках и нити политической власти, грубо подчеркивали узко-классовый характер всей экономической программы.

Литература о гр. Е. Ф. Канкрине и О. Н. Мордвинове.

Сементковский, Е. Ф. Канкрин, его жизнь и деятельность, 1893.

Шипов. Очерк жизни и государственной деятельности графа Канкрина, в „Библиотеке для чтения" за 1864 и отдельно Спб. 1864.

Скальковский, А. Наши государственные и общественные деятели.

Его же: Skalkovsky. Les ministres des finances de la Russie.

Блиох. Финансы в России в XIX в., т. I.

Иконников. Гр. Мордвинов, историческая монография.

Его же: Библиографические записки I, 1858.

Муравьев, С. Гр. Канкрин и его финансовая система, в „Отечественных Записках" за 1865 г., т. 161.

Бунге, Н. Х. Мысли гр. Канкрина о бумажных деньгах, в „Русском Вестнике" за 1864 г., т. 64.

Его же: „Замечания" к переводу А. Вагнера, „Русские бумажные деньги".

Судейкин, В. Денежно-кредитная реформа гр. Е. Ф. Канкрина, в „Юридическом Вестнике" за 1891 г.

Сперанский. Мысли о новых билетах казначейства. 1831 г., в „Русской Старине" за 1872 г.

Schmidt. Das russische Geldwesen während der Finanzverwaltung des Gr. Kankrin von 1823—1845, в журн. „Russische Revue", 1875, III и отдельно.

Bodensted. Cancrin. Bluntschli Staats-Wörterbuch. II.

И. Н. Б - ов. Гр. Е. Ф. Канкрин, в „Русском Вестнике" за 1895 г., т. 239.

Лебедев, В. А., проф. Гр. Е. Ф. Канкрин. Спб. 1896.

ГЛАВА X

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

Славянофильство в России имеет два исторических корня. Его официальная патриотическая идеология ведет свое начало от синоптиков древне-русской истории и наших историков. Его идеалистическая историко - философская идеология ведет начало с конца XVIII века от идеализма немецкого философа Гердера. Обратимся вначале к русским историкам.

1. Историки.

Наши историки XVIII века, Ломоносов, Татищев и Болтин, не признавали в быте первых славян ничего особенного, ничего отделяющего их от остального концерта человечества. Болтин в § 1 второго тома „Примечаний на историю древние и нынешние России Леклерка" (т. II, стр. 423, изд. 1788 г.) прямо утверждает, что „повсюду человеки были и поныне суть во всем один другому подобны". Несколько позднее Карамзин видел в признании за славянами какого-то своеобразного культурно-исторического характера просто выражение народного тщеславия. Это вполне соответствовало сообщениям источников. Все исторические памятники, от Прокопия до Саксона Грамматика, единогласно свидетельствовали о славянах, как о народе вполне тожественном другим народам, находящимся на той же ступени развития, т.-е. диком и воинственном.

Ряд других историков видел в России особый быт и особый процесс развития. Карамзина и его современников

интересовала исключительно политическая история России и политическая самобытность России. Изображение хозяйственного и общественного развития не шло дальше картин домашнего быта народа, дальше более или менее удачных, но отрывочных „моментальных фотографий“ жизни народа в разные его эпохи. Конечно, странно было бы и требовать какой-либо конструкции русской истории на основе хотя бы экономического материализма, проповедь которого раздалась спустя столетие после смерти вышеназванных историков.

Существенное исключение из общей массы составлял один только Шторх, историк и экономист начала XIX столетия. Ему принадлежит та замечательная гипотеза, доказательства которой ежегодно умножаются, что вся политическая русская эволюция покоится на экономическом базисе строго определенного характера, а именно на торговле [1]): Торговля, по мнению Шторха, была для России тою основною движущею силою, которая создала и культуру, и города, и самое русское государство.

В эту свою, на наш взгляд, близкую к истине схему Шторх внес одну ошибку, впрочем, вполне понятную с точки зрения тогдашнего состояния науки, а именно, он предполагал, что вся древне-русская торговля носила исключительно транзитный характер Россия,—по мнению Шторха,—вероятно, еще со времен классической древности была кратчайшим торговым путем индийских и вообще восточных товаров из Черного моря в Балтийское.

Только с VIII и IX веков итальянские города начали завязывать прямые сношения с Константинополем и Малою Азиею; но и тогда вся северная Европа продолжала снабжаться восточными продуктами из Балтийского моря.

Торговля эта была в руках норманов, с одной стороны, и понтийских греков, с другой. Но мало-по-малу в нее начали втягиваться и славянские племена, жившие по великому водному пути „из варяг в греки“. Первым благодетель-

[1]) „Теория Шторха,—говорит проф. Милюков,—получила в наши дни блестящее развитие и обставлена остроумною ученою аргументациею“. Милюков, П. Главные течения русской исторической мысли, т. I, М. 1898 г., стр. 142.

ным последствием этой торговли было построение городов, „обязанных, может-быть, исключительно ей и своим возникновением и своим процветанием. Киев и Новгород сделались скоро складочными местами для левантской торговли; в обоих уже с древнейших времен их существования поселились иностранные купцы". Далее „эта же торговля вызвала второй, несравненно более важный переворот, благодаря которому Россия получила прочную политическую организацию. Предприимчивый дух норманов, их торговые связи со славянами и частые поездки через Россию положили основание знаменитому союзу, подчинившему великий, многочисленный народ кучке чужеземцев". Объяснив торговлей и происхождение городов и появление первых князей, Шторх отмечает затем и ту важную роль, которую торговля продолжает играть в деятельности последних. „Рюрик нашел свой народ уже обладающим значительною и выгодною торговлей", заведенною в немалой степени благодаря усилиям его земляков. Старания первых князей сообщили этой торговле дальнейшее развитие.

Основываясь на транзитной торговле, Шторх в таком же духе строил и всю свою дальнейшую теорию.

Он признавал, что собственное промышленное развитие славянско-литовских племен было слишком ничтожно для создания активной торговли в их среде. Торговля, по Шторху,— „внешняя организация и цивилизующая сила, а вовсе не продукт туземного внутреннего развития". Но Шторх вообще являлся в ту эпоху только приятным исключением. К тому же общий ход событий мешал русским усвоить такие взгляды.

2. Гердер.

К концу века Екатерины начинали смутно пробиваться первые ростки русского национализма. Ему, впрочем, было суждено пройти долгое предварительное развитие. В начале 90-х годов XVIII столетия появилось новое, до сих пор, учение о резких национальных особенностях характера, нравов и строя жизни древних славян. Оно принадлежит довольно известному философу,

гуманисту Гердеру, и входит, как составная часть, во всю систему его мировоззрения. Гердер в 4-м томе своих „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ (Рига и Лейпциг, 1791 г.) затрагивает быт древних славян, которых он до крайности идеализирует. Точка зрения Гердера была решительно ни на чем не основана и всего менее на изучении первоисточников, сообщающих бесчисленные факты как раз обратного характера. Утверждение Гердера—поэтическая вольность сентиментального, случайно заехавшего в Россию и не знавшего ее немецкого идеалиста. Душа, истомленная прусским казарменно-полицейским режимом, искала в „полудиких“ россах таких же идеальных черт, какими некогда Томас Мор наделил обитателей своей Утопии, а Кампанелла—жителей города Солнца. Изящной и гуманной фантазии Гердера, попутно брошенной всего на четырех страничках его большого труда, суждено было сыграть историческую роль.

Конструкция историко-философских идей Гердера не сложна.

Природа создана разумно и гуманно, а высшее ее творение, человек, склонен преимущественно к достижению высшего блага, к гуманности, думает Гердер. Поэтому в природе зло не уравновешивается, а как бы перевешивается добром. Небольшой группе хищников животного царства природа противопоставила громадные количества жвачных и иных мирных животных. Народы Запада, цель которых зачастую состояла в завоевании и разрушении, компенсируются в истории многочисленнейшим в Европе народом—славянами, мудрыми и гуманными земледельцами, торговцами или промышленниками. История славянства и история Запада различны...

Идея особенности русского исторического процесса была брошена, оставалось только ее развить. И мы увидим далее, как большое число писателей, даровитых и вдумчивых, не могли отрешиться от этой ложной романтической идеи, противоречащей и фактическим сведениям и всему современному историческому и социологическому знанию.

Только-что приведенный поэтический набросок Гердера, наделявший славян особо прекрасными качествами, скоро

был усвоен славянскими учеными того времени, великими патриотами и славянолюбцами. Польские, чешские и зарубежные русские, или так называемые русинские писатели повторяли, расширяли и истолковывали гердеровские воззрения. Каждый из них приписывал исключительно своей национальности как „мужество предков", так и „тихие и кроткие добродетели, не запятнанные кровью и не орошенные слезою человеческою". Так писали в 1808 году Иосиф Добровский и Копитар, в 1809 году Суровецкий, несколько позже Мацеевский, в двадцатых годах Шафарик и Лелевель. Создавалось целое славянофильское направление, определенное и обоснованное.

Когда их современник, русский историк Карамзин, писал, что, наоборот, славяне были в силу своей низкой культуры одним из наиболее хищных, жестоких и воинственных народов Европы, то славянские ученые-патриоты обвинили его и в незнакомстве с источниками и в симпатиях к врагам славянства. Мнение последних вскоре восторжествовало.

В конце 20-х годов в Польше выступил известный впоследствии общественный деятель и патриотический писатель Лелевель. В своем сочинении „Первоначальное польское законодательство гражданское и уголовное" (1828)[1]), а равно и в остальных своих сочинениях он доказывал, что древне-славянский быт был чем-то совершенно особенным, ввиду его характерной основы, общинности.

Эту общинность Лелевель приписывает исключительно славянскому миру, который таким образом вполне противопоставляется всему остальному Западу, строй жизни которого покоится на индивидуализме. Древние славяне, согласно воззрениям Лелевеля, являются народом демократическим, управляемым народным собранием („вече"). Общинное землевладение, мирный захват земли, исключительное предпочтение мирных занятий, любовь к свободе и презрение к рабству составляют основные черты славянских народностей вплоть до принятия христианства. С распространением христианства славяне постепенно утрачивают свои прежние

[1]) Лелевель: Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne. Варшава, 1828 г. Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej, Познань, 1855 г. и друг.

права и особенности. Изменение касается прежде всего русских (славян), где древнее самоуправление вытесняется, под влиянием Византии, самодержавием. Долее других наций устояла Польша В организации Польского государства, по мнению Лелевеля, осуществился древне-славянский общий идеал во всем блеске и величии. Народ сам управлял собою на началах равенства, свободы и братства. Когда же Польская республика отказалась от своих заветных идеалов, лишив народ его суверенных прав, она пала.

Воззрение польского патриота нашло подтверждение в трудах другого патриота, ученого Мацеевского. Их учение послужило краеугольным камнем для господствовавшей около полувека патриотически настроенной исторической школы. Впрочем, оно недолго оставалось в пределах славянского мира. Гениальный польский поэт Адам Мицкевич вскоре возвестил его всей Европе. В своих знаменитых лекциях по истории славянских литератур Мицкевич популяризировал теорию общинного быта Лелевеля. Лекции Мицкевича привлекали толпы слушателей и служили громкою злобою дня в обществе и печати. Так в начале 40-х годов из стен „Collège de France“ возвещено было Европе „открытие“ неведомого раньше славянского мира. В нем многие, заслушавшись восторженной речи славянского патриота, увидели воплощение тех идеалов общежития, к которым тщетно и мучительно стремилась цивилизация в течение тысячелетий. Это был тот же самообман, которому поддался в свое время Руссо, видевший в Польше частичное воплощение своих идеалов.

Увлечению славянством поддались и в Германии. Барон А. Гакстгаузен едет в 1842 году в Россию, заранее восхищенный ее бытом и ее нравами. Трехтомное исследование, вышедшее в конце 40-х годов [1]), напоминает восторженные статьи парижских журналов времен лекций Мицкевича. Гакстгаузен открывает русскую „общину“. Появляется экономическое обоснование самобытности.

---

[1]) Haxthausen, A. Studien uber die innere Zustande, das Volksleben etc., I и II т, Ганновер, 1847 г; III т., Берлин, 1852 г.: русск. пер. I т. 1870 г. в Спб

3.

Это учение—учение о самобытности России—не могло не остаться без влияния на русское общество; но когда именно и как зародились в нем славянофильские симпатии, определить очень трудно,—во всяком случае, за несколько поколений ранее, чем это думает Пыпин [1]). Нет сомнения, что славянофильство, в более или менее смутном виде, появилось при общем пробуждении русской национальной общественной мысли. Основная конструкция славянофильства по своему историческому типу должна была быть сродни каждому пробуждающемуся к сознательной политической жизни народу. Можно указать и у нас и на отдельных лиц и на целые слои, которые еще в самом начале 20-х годов начали более или менее открыто сочувствовать славянским патриотическим фантазиям. Ко времени декабристов славянофильство настолько прочно укрепляется в умах, что явилась возможность создать тайный союз: „Общество Соединенных Славян". Это общество преследовало совершенно иные цели, чем „Южное Общество"—центр активных декабристов, хотя оно одно время и было с последним в союзе и вместе с ним подверглось разгрому [2]).

Задачи Общества Соединенных Славян, по словам записки одного из его сочленов, были следующие: „Общество имело главною целью освобождение всех славянских племен от самовластия, уничтожение существующей между некоторыми из них национальной ненависти и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом. Предполагалось с точностью определить границы каждого государства, ввести у всех народов форму демократического представительного правления, составить конгресс для управления делами союза и для изменения, в случае надобности, общих коренных

---

[1]) Пыпин, А. Характеристика литературных мнений от 20-х до 50-х годов. Спб. 1890.

[2]) См. замечательные „Записки неизвестного" (Горбачевского). (Из Общества Соединенных Славян). „Русский Архив". М. 1882 г., кн. I. Герцен в статье „La conspiration Russe en 1825" указывает, что Общество Соединенных Славян было основано артиллерийским офицером Борисовым, и что Бестужев-Рюмин присоединил (?) „славян" к главной организации.

законов, предоставляя каждому государству заняться внутренним устройством и быть независимым в составлении частных своих узаконений". „Вникая в основания благоденствия частного человека, — говорится в записке,—мы убеждаемся, что они бывают физические, нравственные и умственные. посему гражданское общество, как целое, составленное из единиц, необходимо зиждется на тех же началах и для достижения возможного благосостояния требует промышленности, отвращающей бедность и нищету, нравственности, просвещения". Промышленность (читай—труд), нравственность и просвещение—это три основных начала общественного блага истинного „славянина". Они достаются путем нравственного совершенствования, путем уничтожения сословий, трудолюбия и веротерпимости. Только став нравственным, просвещенным и трудолюбивым, народ становится достойным свободы. Подготовленный таким образом „к новому образцу гражданского существования" весь народ производит у себя перемену. „Хотя военные революции быстрее достигают цели,—говорится в той же записке,—но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем коей совершаются". Но, не надеясь на скорое исполнение желаний, „славяне" не сидели сложа руки, а работали. С этой целью „они положили определить некоторую часть общественной суммы на выкуп крепостных людей, стараться заводить или споспешествовать заведению небольших сельских и деревенских училищ, внушать крестьянам и солдатам познание правды и любовь к исполнению обязанностей гражданина и таким образом возбудить в них желание изменить унизительное состояние рабства и пр." Но главная мысль была та, что „свобода покупается не слезами, не золотом, а кровью", что, по словам автора записки, давало союзу „отпечаток какой-то воинственности".

Члены Общества Соединенных Славян принадлежали преимущественно к среднему поместному дворянству, служившему по большей части в армии. Представители столичного общества и особенно науки остаются еще глухи к новому влиянию. Но в 30-х годах, несмотря на разгром Общества Соединенных Славян, славянофильское напра-

вление пускает корни и в других слоях общества. Усиление славянофильства в Польше и Чехии поддерживает распространение этого учения в России. В конце 30-х годов воззрения Гердера, подкрепленные знаменитым исследованием одного из крупнейших славистов — Шафарика („Славянские древности", 1837 г.), окончательно утвердились в России. Почва для них, как мы видели выше, была готова, и когда ряд ученых (Бодянский, Погодин и др.) уже открыто говорят о национальных особенностях древней России, то к их словам прислушивается все образованное общество. Появляется панславизм — детище „Кирилло-Мефодиевского Братства". Высокие качества славянского духа и идеальное устройство древне-славянского быта они с полным патриотизмом целиком приписывают России. Вот точка зрения, усвоенная кружком московских писателей большого света—братьями Киреевскими, К. Аксаковым, Хомяковым и др, известными под общим названием старых славянофилов. В соединении с воззрениями тогдашней немецкой философии они создали новое историко-философское и религиозно-политическое учение—славянофильство, сыгравшее в 40-х и 50-х годах видную роль в развитии русской интеллигенции. Славянофильское учение оказало влияние на ряд русских историков (Соловьева, Кавелина, Бестужева-Рюмина, Петрова, Осокина, Беляева) и легло в основу развившегося во второй половине века, так называемого „русского национализма". Но писатели и защитники этого лагеря уже обходили молчанием вопрос об особенностях экономического развития России, отделываясь в необходимых случаях общими фразами. Более обстоятельно и определенно высказывались славянофилы, поставившие во главу теории не только философию, но и экономику. Они указывали на особые основы русского народного хозяйства—на общину (мир), артель и пр.

Ко времени их выступления русское общество находилось, как известно, под сильным влиянием немецкой романтики. Последнее направление, весьма понятно, только способствовало усвоению славянофильского настроения. Несколько раньше в Москве возникает вышеупомянутый кружок, который своею литературною деятельностью положил прочное

основание последующему националистическому направлению в России. В состав этого кружка входили братья Киреевские—Иван (1806—1856) и Петр (1806—1856), А. С. Хомяков (1804—1860), Дмитрий Валуев, Петр Яковлевич Чаадаев, Константин (1817—1876) и Иван (1823—1886) Аксаковы, затем, позже, Ю. Самарин (1819—1876), Александр Кошелев (1806—1883), Александр Попов, Чижов, С. А. Маслов, кн. В. В. Львов, Д. Н. Свербеев, С. М. Бестужев, граф А. О. Армфельд, Э. А. Дмитриев-Тимонов и др.

Конец 20-х годов был периодом так называемой подготовительной работы, когда славянофильство не выходило из кружка близких друзей-единомышленников и не представляло собою никакого заметного общественного течения. Славянофильство этого времени было продуктом светских кабинетов и гостиных, экзотическим произведением комнатной культуры, достоянием воззрений немногих избранных, преимущественно родовитых бар-москвичей.

Значительною, почти общественною силою славянофильство стало уже в конце 30-х и в начале 40-х годов, со времени появления группы антагонистов-западников.

Этому содействовало энергичное общественное настроение славянофилов. „Первые вестники славянофильства являлись людьми, сильными убеждением и верою, вызывавшими на бой с неправдою как в области мысли, так и в окружающей действительности“ [1]). Но их настроение, выдвинув их вперед, нашло себе мало отзвуков в русской жизни и не сделалось общерусским течением. А. Плещеев в марте 1849 года свидетельствует из Москвы петрашевцу Дурову, что там „славянофильство имеет весьма ограниченный круг прозелитов“ (Общество Пропаганды, 1849 г., стр. 78) [2]). Впрочем,

---

[1]) Сухомлинов: Исследования и статьи Спб., 1889 г., стр. 462.

[2]) „Общество пришло в недоумение от непривычной речи, поразившей и своею смелостью и оригинальностью мысли Большинство так и осталось при неопределенном впечатлении, не задавая себе труда вдуматься в предметы, повидимому, весьма отвлеченного свойства. Судьи более храбрые и самоуверенные произнесли приговоры весьма решительные: по мнению одних, славянофилы были фанатики, мечтавшие о вещах невозможных, а потому безвредные; по мнению других, славянофилы—опасные враги общественного спокойствия“. Сухомлинов Исследования и пр., стр 432.

и позже на широкую улицу это направление никогда не выходило, и хотя одно время усиленно привлекало внимание русского общества, но общественным движением не становилось, не демократизировалось, но и не проникало непосредственно в правящие сферы [1]). Поэтому славянофильство никаких прямых практических результатов не дало. Но влияние его „в эпоху великих реформ“ было несомненно значительно. Более поздние славянофилы, а именно: Ю. Самарин, князь Черкасский, отчасти Н. А. Милютин, сыграли видную роль в реформе 61-го года, а славянофильство до известной степени содействовало освобождению крестьян с землею и сохранению общины. Впрочем, это были вопросы, на которых сходились, забывая партийность, все слои передового общества. Общее дело вызывало общее настроение, взаимное чувство [2]). Это был любопытный в психологическом смысле исторический момент,—момент единения: совершив свою миссию, единодушие исчезло. Миссия эта была—уничтожение крепостничества. Весь интерес к экономическим судьбам России сосредоточивался, начиная с 30-х годов, только на одном моменте—на современном, на освобождении крестьян от крепостной зависимости. Одна часть интеллигенции помогала практическому осуществлению этого великого дела, другая намечала путь его дальнейшего развития. В основу всего клалось одно—народные интересы; так смотрели все—и Хомяков, и Чернышевский, и Добролюбов.

В чем именно состояла практическая программа славянофильства, мы сейчас укажем. Она особенно ярко была формулирована после разделения русского общества на два лагеря: славянофильский и западнический. В 20-х и 30-х годах славянофильство и западничество ютились в московских салонах. Затем они распались. Герцен считает виновником разрыва Белинского, которому подготовил почву Чаадаев

---

[1]) Князь П. А. Вяземский в 1855 г. выразился: „Славянофильство распространялось под сенью цензуры и не перестанет распространяться, пока окружено будет туманом“. Сухомлинов, М. Исследования и статьи. 1889. Статья: „Снятие опалы с славянофилов“. Стр 480.

[2]) Западник Герцен писал о славянофилах, об этих „наших врагах-друзьях“: „Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая—и мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно“. (На смерть К. Аксакова. „Колокол“, л. 90; „Былое и Думы“, стр. 266).

(1836) [1]). Из безконечных салонных споров оба направления в 1844 году превратились в два враждебных лагеря [2]).

„Ближайшим поводом к окончательному разрыву,—говорит П. Милюков, — явились резкие стихи Языкова, направленные против Грановского и вообще западников. Первою же пробою отношения московского общества к обоим лагерям послужил демонстративный успех диссертаций и публичных лекций Грановского в сравнении с холодным приемом лекций Шевырева". Противники не жалели красок, характеризуя славянофилов. Грановский (Переписка, т. II, стр. 455) следующим образом отозвался „об Аксаковых, Самариных и братии": „Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиною. Ни одной свежей мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории... Последнее слово их системы— православная патриархальность, несовместимая ни с каким движением вперед".

Сурово отрицал славянофилов и В. Г. Белинский, который никогда не хотел слышать о примирении. „Я жид, говорил он, и не хочу есть за одним столом с филистимлянами". Только Герцен относился терпимее и мягче к славянофилам, так как и сам разделял многое и существенное из их экономических воззрений [3]).

Таким образом антагонизм между обоими лагерями был силен. Этот антагонизм дал Киреевским и Хомяковым возможность в 1845 году формулировать славянофильство на страницах „Москвитянина". По смыслу их учения, „начало

[1]) „Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского; и еще прежде них, они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении письма Чаадаева в шуме, который оно вызвало. Письмо Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж". Герцен: „Былое и Думы", стр. 274.

[2]) „В начале сороковых годов мы должны были встретиться враждебно— этого требовала последовательность нашим началам. Мы бы могли ссориться из-за их (славянофилов) детского поклонения детскому периоду нашей истории; но принимая за серьезное их православие, но видя их церковную нетерпимость в обе стороны, в сторону науки и в сторону раскола,— мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазующий... новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепному византийству". Герцен, „Былое и Думы", стр. 267.

[3]) См. Богучарский: Из прошлого русск. общества. Спб. 1904, стр. 186 и след.

европейской образованности, развившееся по всей истории Запада, в наше время оказывается уже неудовлетворительным для высших требований просвещения". „Современный характер европейского просвещения совершенно однозначителен с характером той эпохи римско-греческой образованности, когда, развившись до противоречия самой себе, она по естественной необходимости должна была принять в себя другое новое начало, хранившееся у других племен, не имевших до того времени всемирно-исторической значительности". Таким племенем, выступающим на всемирно-историческую чреду, является в данном случае русский народ. Вносимого им „нового начала" надобно искать: оно не бросается само в глаза, как бросается образованность „европейская", ибо коренные начала просвещения России не раскрылись в ее жизни до той очевидности, до какой развились начала западного просвещения. „Поиски Киреевского приводят его к заключению, что новое начало, которое Россия внесет во всемирно-историческое развитие, непосредственно вытекает из всей разницы между восточной культурой и западной. В основе европейской истории лежит римская культура; ее духом (рассудочностью) проникались и западная церковь, и государство, основанное на Западе насилием, завоеванием. А так как дальнейшее развитие государства есть не что иное, как раскрытие внутренних начал, на которых оно основано", „то государства европейские, начавшиеся насилием, должны были развиваться переворотами".

В них развился, благодаря „односторонней рассудочности", не общественный дух, но „дух личной отделенности". „Под общественными формами скрывались постоянно одни частные партии, для своих частных целей забывшие о жизни целого государства. Поэтому развитие совершалось всегда посредством более или менее чувствительного переворота. Переворот был условием всякого прогресса". Россия, совершенно напротив, не подверглась влиянию римского культурного элемента: коренной русский ум, лежащий в основе русского быта, сложился и воспитался под руководством св. отцов Восточной церкви, которые, „не увлекаясь в односторонность силлогистических построений, держались той полноты и цельности умозрения, которая составляет отличительный признак

христианского любомудрия". „К нам это просвещение проникало прямо из первых источников, из самого центра современного просвещения, который тогда находился в Царьграде, Сирии и на святой горе"; оно влияло „на все понятия нравственные, общежительные и юридические, на все классы и ступени общества", так как духовенство,—главный посредник при распространении этого просвещения, составлялось „безразлично из всех классов народа". „Семена упали притом на подготовленную и благодарную почву, так как в России не было ни завоевания, ни, следовательно, резкого разделения общества на классы, земли—на независимые отдельные владения. В единой и цельной внутри себя России восточная образованность пустила такие глубокие корни, что, несмотря на то, что уже 150 лет прошло с тех пор, как монастыри наши перестали быть центром просвещения, несмотря на то, что вся мыслящая часть народа своим воспитанием и своими понятиями значительно уклонилась от прежнего быта, изгладив даже память о нем из сердца своего,—этот русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел почти неизменно в низших классах народа: он уцелел, хотя живет в них уже почти бессознательно, уже в одном обычном предании, уже не связанный господством образующей мысли". „Задача русской интеллигенции—дать народной мысли эту недостающую ей связность и сознательность, и на этом только основании—никаком ином—создать науку, основанную на самобытных началах, искусство, на самородном корне расцветающее" [1]).

Московский славянофильский кружок вскоре внес раскол в русское общество. С его появлением русская интеллигенция распалась на два лагеря: славянофилов и западников.

Славянофилы отнюдь не удовлетворялись только восхвалением своей родины [2]). Противопоставляя ей и вообще

[1]) Милюков Славянофильство. Статья в словаре Брокг. и Ефр., Спб., 1900 г., т. 30, стр. 307.

[2]) В основе их учения лежало, как известно, гегелианское представление о том, что всемирная история есть постепенное развитие и обнаружение всемирного духа. Отдельные народности воплощают в себе отдельные ступени развития этого духа; каждый последующий народ, выступающий на сцену всемирной

всему славянскому миру Запад, они перенесли на него всю силу антипатии своей восторженной натуры. Начала Запада, по их мнению,—олицетворение эгоизма (см. соответствующее стихотворение Хомякова) [1]), разрушения, эксплоатации и разврата. Начала славянства—это ключ, из которого разольется безбрежное славянское море. И чем хуже начала Запада, тем возвышеннее и прекраснее будет грядущее родины. Но они не любили не конкретный Запад (Хомяков был даже до известной степени англоманом), а начала (принцип) западного строя [2]).

„Нетронутые Римом,—говорит славянофил Хомяков,—славяне сохранили неприкосновенно обычай и нравы незапамятной старины. Им неизвестно было устройство, основанное на дикой силе, не удерживаемое никакими нравственными законами. Святыня семейная и чувства человеческие воспитывались простодушно между могилой отцов и колыбелью детей. Землепашество, трудами своими питающее мир, и торговля, предприимчивостью своею связывающая его концы, процветали в безыскусственных обществах под безыскусственными законами родового устройства. Таков был характер областей от Дона до Эльбы. Успешная борьба с финнами и сарматами не развратила славян, потому что святая война не похожа своими последствиями на неправедную войну завоевателя". „Древне-славянское общинное начало сохранилось

истории, представляет всемирно-историческую идею все в более полном и совершенном выражении. В этом ряду народам, призванным быть выразителями всемирной истории, России и славянству принадлежит роль последнего и наиболее полного обнаружения всемирного духа, по отношению к которой роль всех предыдущих народов является лишь подготовительной. Западное человечество развивало только одну сторону духа, рассудочную, логическую. Напротив, Россия призвана к гармоническому развитию всех сторон духовной жизни и прежде всего к обнаружению другой стороны духа, сравнительно с Европой,—к развитию чувства в противоположность рассудочности. „Преобладание этой стороны духовного развития выразилось в духовной жизни русского народа, как православная форма христианства, а в материальной жизни—как общинное начало. В противоположность мистическому началу православия, религии Запада основываются на рассудочности,—католицизм так же, как и протестантство В противоположность славянской любовно-братской общине, западный мир стоит на борьбе интересов, на правах личности,—словом, на развитии юридического начала".

[1]) О Хомякове: Лясковский: Ал-др Ст. Хомяков. „Рус. Архив" 1896 г., кн. II и отдельно. См. ниже.

[2]) См. Колюпанов, Н. П.: Очерк философской системы славянофилов „Русск. Обр.". 1894 г., кн. 7—11.

в чистоте в России, Сербии и Болгарии, оно подвергалось искажению в западно-славянских общинах, прельстившихся чуждою им стихиею германского аристократизма".

Другой славянофил, Киреевский [1]), думает, что „для России было счастьем, что она осталась в стороне от римского влияния и сохранила в чистоте древне-славянские общинные начала, не имеющие ничего общего с основными элементами западной цивилизации". „Оно,—по его мнению,—отличается крайней односторонностью и отсутствием внутренней справедливости". Главные черты отличия Запада от России, по Киреевскому, составляют: образование в народе отдельных общин („мир"), принадлежность земельной собственности этому миру, отсутствие классовой дифференциации в смысле незнания рабов и благородных и т. д., в суверенитете народа и полной ограниченности княжеской власти. Наконец, один из славянофилов (Самарин) думает, что к общинному началу России должна современем прийти и вся Европа [2]). Начало личности, столь развитое в последней, может только в лучшем случае создать ассоциацию. Между тем европейские мыслители предлагают иное устройство для государства будущего, и притом устройство, тожественное с бытом русских. „Таким образом романо-германский мир абстрактным путем мышления дошел до требования того начала, которое составляет природу славянского племени". Возвестить миру последнее—историческая миссия славян. Впоследствии некоторые славянофилы вместо славян в этой теории подставили выражение—русские. Так, проф. Беляев считает только одних так называемых „русских" славян чистыми носителями великой идеи общинности, которая у западных славян, поляков, чехов и пр. искажена сторонними влияниями. Отсюда был уже только один шаг к выделению из всех „русских" одних велико-руссов и к наделению последних началом мессионизма. Это и сделали наши „националисты".

---

[1]) Виноградов, П. Г.: Киреевский, В. И. и начало московского славянофильства.—„Вопросы философии", 1892 г., книга II, стр. 98—126.

[2]) „Западный мир,—писал Ю. Самарин,—выражает теперь требование общины (социализма)—это требование совпадает с нашей субстанциею, и здесь точка соприкосновения нашей истории с западною".

Славянофилы, видя в общине панацею от всех зол и бедствий социальных [1]), являлись в то же время противниками господствовавшего тогда в России крепостного рабства. Они называли его черным игом, ужасным грехом, несмываемым пятном позора и проч. В данном случае они вообще примыкали к общему направлению русской прогрессивной общественной мысли до 1861 года: у некоторых из них положение крестьян, при всем том, было иногда и ниже среднего, а отдельные представители, напр., П. Киреевский, были даже противниками освобождения.

Но славянофилы никогда не протестовали против цивилизации; Хомяков даже восторгался Англиею. Экономические блага, получаемые от широкого развития кредитного хозяйства и капиталистических предприятий, не казались им вредными для России. Они требовали только, чтобы все это находилось целиком в русских руках и шло вполне на пользу России. „Россия для русских“; покровительственная система, национальная одежда и другие аттрибуты националистического пошиба были им вполне по сердцу. Все это скрашивалось рассказами о „святой старине“ и удивительной доблести предков. Вот образчик славянофильского стиля, впрочем, более позднего времени, когда появилась некоторая утрировка: „Всяким довольством обильна, величавым покоем полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домоседская; мед, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу—избытком не купленных, богом дарованных благ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала залетная мысль, а если и бушевала подчас кровь,—пиры и охота, шум и веселье разгулом утоляли взволновавшуюся буйную кровь“ [2]).

Чистое славянофильство кружка московских славянофилов пережило первое поколение этих патриотов-романтиков. Представители исчезнувшего в 60-х и 70-х годах славянофильства четвертого поколения несколько раз пытались закрепить за

---

[1]) „Общинное начало составляет основу, грунт всей русской истории, прошлой, настоящей и будущей; семена и корни всего возносящегося на поверхность зарыты в его плодотворной глубине“. Ю. Самарин в „Москвитянине“ за 1847 г (под псевдон. М... З. К...)

[2]) Славянофильская газета „День“, 1865 г., № 4. Цит. у Н. Михайловского: „Физические опыты“, 1887 г, стр. 35.

собою внимание и руководство русским обществом, но все попытки Ив. Аксакова основать журналы („Парус“, „Москва“, „Русь“ и пр.) разбивались о равнодушие общества, а статьи Кошелева, Самарина и пр. не шли далее узкого круга почитателей. В конце 70-х годов, благодаря освободительному движению славянских народов Балканского полуострова, славянофильство снова оживилось на некоторое время. Правительство не было настроено в пользу славянофильских идей, и с этой стороны они скоро встретили отрицательное отношение. В настоящее время немногочисленные поборники славянофильства не обладают ни одним сколько-нибудь выдающимся литературным или ораторским талантом, а тем более ни одним органом печати.

Воззрения славянофилов отразились на ряде последующих трудов многих из русских ученых. Их влиянию поддались: Соловьев, Гильфердинг, Лешков, Орест Миллер, Первольф, Кавелин, Бестужев-Рюмин, Леонтович, Макушев, Котляревский, Петров, Осокин и др. Славянофильская доктрина внесла, таким образом, совершенно особое освещение экономической истории России, для которой она выработала вполне готовую форму и исследования которой она как бы сделала вполне излишними своим уже готовым построением. Выступив в 1845 году в собственном журнале („Москвитянине“), славянофилы вынуждены были на целое десятилетие перейти к системе сборников, к борьбе по мелочам с цензурою и к рукописной литературе. В середине 50-х годов они уже кажутся безвредными и вновь получают право на самостоятельный орган [1]). Это заставило их высказаться до конца, что испугало лучших среди них. В 60-х годах представителями славянофильства были И. Аксаков и Самарин. Позднее Аполлон Григорьев, Данилевский и Леонтьев низводят славянофильство до узконационалистической доктрины, близкой к так называемому „охранительству“.

К двадцатому столетию представителей славянофильства уже не было, по крайней мере они не выступали в печати.

---

[1]) См. статью „Снятие опалы со славянофилов в 1855 году“. Сухомлинов. Исследование, Т. II.

„На пространстве всей девятивековой сознательной жизни русского народа,—говорит последний славянофил Афанасий Васильевич Васильев,—мы видим во всех положительных самобытных ее явлениях присутствие тех же сопутствующих одно другому и стройно сочетающихся, образующих и творческих,—личного и сборного начал. Нужно ли приводить этому доказательства? Хоровая русская песнь—это песня сборная, в которой отдельные голоса и напевы стройно сливаются в общем созвучии. Образцовая русская семья та, где царят совет да любовь, пожеланием которых приветствуют новобрачных. Образцовый русский способ решения общественных дел, это—решение их миром, при котором разногласица отдельных мнений сводится к единодушному решению взаимной любви и желаниям общей пользы. Образцовый способ землевладения и хозяйства—общинный (?), где отдельные общинники свободно поступаются (?) частью своих прав в пользу нарастающих поколений. Образцовое по мысли и сердцу русского народа государственное устройство—такое, во главе которого стоит свободный в своих решениях государь, внимающий и уважающий соборный голос свободного в выражении своих мнений народа. Образцовое отношение русской власти к подвластным иноплеменникам и инородцам такое, что от них требуется верность общему отечеству—государству, а затем оставляется вольная-воля сливаться с господствующей народностью или жить своим обычаем и своими языками славить бога. Наконец, сама наша православная церковь соборная, и неповрежденность ее свободы и соборности в глазах русского народа есть непременное условие ее святости“ [1]). Таким образом мы имеем здесь повторение тех же мыслей о соборности и единении царя с народом, т.-е. все то, чем увлекались и первые славянофилы.

Относительно „бытовых особенностей“ русского народа Васильев высказывается, впрочем, несколько отлично от позднейших славянофилов, наделяя ими не только русский, но и всякий „духовно-свободный народ“. „Бытовые особенности народа, которые собственно и дают ему своеобразный облик

[1]) Васильев, Аф. Вас.: Об исконных творческих началах и пр. Спб. 1902, стр. 8.

и выделяют его, как народную личность, как народ, из всего остального человечества, — говорит Васильев,—бытовые особенности эти суть плод свободного творчества народа (?!), созидающего свою жизнь на свой особый склад, на свою стать и на свой образец. И пока народ духовно свободен, он постоянно творит, и творчество его своеобразно во всем. Начиная с вещественных и наружных проявлений жизни, каковы: способы добывания и приготовления пищи, покрой одежд, внутреннее устройство и наружный вид жилищ,—своеобразие народа проявляется в языке, и в произведениях слова, в художествах и ремеслах, в навыках и обрядах, и в обычаях и писанных законах, в хозяйственных соотношениях народа в себе самом и с другими народами, в учреждениях государственных и в образе верховной власти, наконец, в церковных обрядах и устройстве, и даже в самом исповедании веры, так как в принятии того или другого исповедания и тех или иных канонов и догматических определений сказывается народный дух,—народный нрав". Отсюда понятна и дальнейшая практическая программа. „Все эти народные особенности, не исключая и тех, которые относятся до внешних сторон жизни (как, например, народный строй одежд), составляя плод многовековой работы и дары предков,—уже по одному этому должны быть бережно хранимы и передаваемы приумноженными в наследие дальнейшему потомству. Только при таком хранении и преемственной передаче бытовых особенностей сохраняется, развивается, растет и крепнет народная личность под воздействием благодатных исконных творческих начал. С изменою же этим началам начинается утрата и бытовых особенностей, замирает самостоятельное творчество народа, и он теряет не только право на самостоятельное место, но даже и право на дальнейшее существование" [1]).

Итак, славянофильство совершенно остановилось в своем развитии и сошло со сцены русской общественности. Оглядываясь на историю славянофильского течения, необходимо заметить, что славянофильство после первых „старых"

[1]) Васильев, Аф: Об исконных творческих началах и пр., 1902 г, стр. 1.

славянофилов московского кружка сильно поддерживалось другим течением, именно панславизмом, которому наши славянофилы весьма сочувствовали [1]). Это „боевое“ славянофильство. панславизм, стремилось политически объединить все славянские народы, конечно, под главенством России, а объединившись, объявить непримиримую борьбу Западу, на первом же плане своим ближайшим соседям—Австрии и Германии. Заносное в Россию течение, панславизм, известный в России еще со времен Крижанича, никогда не играл в русском обществе активной роли. Только славянофильская группа декабристов, а позднее малороссы поддались заманчивому плану панславистской федерации [2]). В программе украинских панславистов, составленной в 1848 году [3]) и освещаемой в автобиографии Костомарова („Русская Мысль“, 1885 г.), вновь формулирована та фантастическая идея панславизма, которую мы уже видели у „Общества Соединенных Славян“. „Будущая федерация славянских народностей“ должна была покоиться на „идее славянской взаимности“, на „основе полной свободы и автономии народностей“. „В религии полная свобода... Все вероисповедания должны пользоваться одинаковыми правами. Запрещалась всякая (религиозная) пропаганда, как бесполезная при свободе, но предполагалось склонять славян-католиков принять славян-

---

[1]) „К собственным историческим воспоминаниям (славянофилов) прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славяне за тожество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм при появлении своем был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он явился в печальную эпоху венского конгресса. Это было вообще время всяческих воскрешений и восстановлений; появился и чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощряли развитие международных ненавистей“... „Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России“ Герцен, А. И. „Былое и Думы“, стр. 269. Впрочем, сам Герцен сочувствовал идее федеративного славянства. Ср. сборник „Старая Европа и Россия“, статья „Крещеная собственность“ и друг.

[2]) Сведения о панславизме, равно как об украинских славянофильских организациях можно найти в статьях. „К сведениям об украинно-славянских обществах“ в „Рус. Архиве“ за 1893 г. (№ 7) и 1892 г. (№ 5), Петров: „Общественно-политическое брожение в Киевской губернии 1845—1847“ („Истор. Вестник“, 1885, кн. IX)

[3]) Кружок украинских панславистов составляли: П. Кулиш, Н. Артемовский-Гулак, А. Навроцкий, В. Белозерский, Н. Посяда, Т. Шевченко, Н. Костомаров и др, он носил название „Кирилло-Мефодиевского братства“.

ский язык в богослужении. Относительно языка, который должен был сделаться общим (посредничающим) для всех славян, не решалось окончательно, но предполагался язык великорусский, как наиболее распространенный. Предполагалось обязательное обучение народа. Уничтожение крепостного права и всех привилегий, уничтожение смертной казни и телесных наказаний. Предполагалось в будущем, чтобы славянские народы примкнули к России и образовали с нею федерацию. Россия должна была разбиться на части или штаты — северный, северо-восточный, юго-восточный и два волжских — верхний и нижний, два малороссийских, один средний, два южных, два сибирских, один кавказский; Белоруссия составила бы отдельный штат, также Польша, Чехия с Моравией, Сербия, Болгария; часть Галиции присоединялась к Польше, другая к западному малороссийскому штату и т. д.". Таковы „Славянские Штаты". Составители такой обширной федерации, повидимому, сами чувствовали несостоятельность своего проекта. Поэтому они наивно поясняли: „Такое деление не признавалось окончательным и могло быть построено сообразно экономическим и другим потребностям". Центральным городом „для собрания общего сейма" назначался Киев, который не должен принадлежать ни к одному штату. В сейме этого экстерриториального города предполагались две камеры: в одной—выборные сенаторы и министры, в другой—депутаты. „Общий сейм должен был собираться через каждые четыре года и чаще, в случае необходимости. В каждом штате был бы свой сейм, который собирался бы ежегодно, наконец свой президент и сенат. Верховная или центральная власть предоставлялась президенту всей федерации выбираемому на 4 года, и двум министрам—иностранных дел и внутренних дел"... Регулярное войско в ограниченном количестве,—вместо него милиция и ополчение. Далее проект панславистов не шел и в бо́льшие подробности программа не вдавалась.

Как уже было сказано, славянофилам не были противны приобретения западной цивилизации. Много говоря о национальном духе и стремясь удержать народ и восстановить старинные обычаи и внешность, они не были против прогресса в промышленной технике и в военном деле. Поэтому

и панслависты относятся покровительственно к развитию европейской культуры в России, видя в ней удобное орудие против Запада. Данилевский, Ив. Аксаков, Самарин, Киреев, Погодин, отчасти Катков—вот имена наиболее известных панславистов.

Несмотря на крупную историческую роль славянофильства в России, изучение этого течения очень мало подвигается. Если не считать двух-трех специальных монографий, посвященных отдельным славянофилам, например, их старейшему духовному вождю Хомякову [1]), у нас нет до сих пор ни одного обстоятельного научного сочинения, излагающего историю и теории славянофильства за весь период его существования.

Славянофильский восторг перед тем первобытным прекрасным строем, одно из осуществлений которого они усматривали в своей иллюзии древней Руси, заключал в себе и ядро программы „лучшего будущего". Сохранение общинного строя, как единственно правильной основы народно-хозяйственной и государственной организации, было их основным требованием для настоящего и пожеланием для будущего.

Дальше славянофилы не пошли. Потребовалось влияние иных течений и смена целого поколения, чтобы другое направление пришло к тожественным со старыми славянофилами выводам и развило их доктрину до крайних пределов. Это и сделали духовные дети славянофилов—народники. Необходимо, впрочем, оговориться, что прямой исторической связи между народниками и славянофилами не существует, преемственность может быть установлена только в сходстве конструкций идей и в основных склонностях обоих направлений. Экономическая их основа родственна: славянофилы—наши феодалы, землевладельцы, идеологически отрывавшиеся от своего класса, народники—частью интеллигенты-помещики, частью же внеклассовые интеллигентские группы из среды дворянства и разночинцев, отрыв которых от определенной классовой психологии шел еще дальше и глубже.

Славянофилов, этих своеобразных идеалистов дореформенной России, критиковали много, горячо и резко и всегда

---

[1]) Проф Завитневич: А Хомяков. Т. I. Киев. 1901 г. Владимиров Мировоззрение Хомякова. 1901 г. Бердяев, Н. А.. А С. Хомяков. М. 1912.

совершенно несправедливо. В основе этого направления, при всем их радикальном взгляде на вещи, лежало только буржуазное националистическое направление, которое постепенно переходило к типичному мелко-буржуазному социализму. Крестьянская собственность, мелкое производство и идеализация мнимых „исторических“ основ составляли идейный багаж этого направления. В свое время славянофилы и их „раздражительное чувство народности“ были несомненным плюсом для развития русского самосознания, и доныне некоторые из их произведений, например, Хомякова, прочтутся каждым националистом с интересом. „Появление славянофилов, как школы и как особого учения,— говорит Герцен,—было совершенно на месте“ [1]). Но в настоящее время основоположения славянофильства опровергнуты окончательно, да и в свое время указывался вред славянофильства для изучения русских истории и народа. „На славянофилах,—говорит тот же Герцен,—лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни“.

Одна из более подробных критик как старого, так и нового славянофильства принадлежит, бесспорно, Владимиру Соловьеву [2]). С обычною страстностью этот писатель мастерски изложил, хотя с некоторыми фактическими ошибками, разложение славянофильства и его падение до „национального и политического кулачества“, как выразился Вл. Соловьев. Вот как охарактеризовал этот автор славянофильство во II выпуске своего „Национального вопроса“:

„Поклонение своему народу, как преимущественному носителю вселенской правды, затем поклонение ему, как стихийной силе, независимо от вселенской правды, наконец, поклонение тем национальным односторонностям и историческим аномалиям, которые отделяют наш народ от образованного чело-

---

[1]) Герцен: Былое и Думы. Стр. 268.

[2]) „Принадлежащая Соловьеву философская критика старого и нового славянофильства, это — целый огромный слиток чистого публицистического золота, который наши газетчики обязаны были бы вычеканить в монету и выпустить в самый широкий оборот, если бы они, увы, ее предпочитали золоту самой малоценной, но зато прибыльной литературы“. Струве, П.: На разные темы. Спб, 1902 г., стр. 201.

вечества, т.-е. поклонение своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской правды,—вот три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами, Катковым и новейшими обскурантами" (Соловьев, В., стр. 97).

Такова красивая и весьма, на первый взгляд, заманчивая история регресса славянофильства, но безусловно носящая совершенно искусственный характер. Действительно, во времени такие течения, как славянофильство, катковизм и полная реакция, могут быть, по степени их усиления и проявления, поставлены друг за другом, но, во-первых, они существовали также и единовременно, а во вторых — в них, в смысле развития славянофильского учения, нет никакой преемственной связи. Что славянофильство, как течение, упало, это—факт; что Катков имел отношение лишь к той части славянофильства, которая интересовалась только узко-национальными вопросами, а, наоборот, был в ту же эпоху западник и приверженец английской конституции, это—тоже факт.

Но, замаскированное в идеалистические вуали, славянофильство, упав у нас до обскурантизма и выродившись в пародию, этим не закончило своего исторческого развития. Оно еще раз воскресло, но уже в качестве одного отблеска, одного отражения в народничестве, которому славянофильство передало и свою особую окраску и многие части своей основной конструкции, так что некоторые до известной степени справедливо называют народничество — „экономическим славянофильством".

Глава XI.

ШЕЛЛИНГИАНСТВО В РОССИИ.

1.

Второе десятилетие XIX века характеризуется нарастанием политического настроения, обоснованного идеалами французского буржуазного национализма. Это направление нашло себе выражение в идеалах и движении декабристов. Но

помимо этого главного течения параллельно развивалось другое, значительно меньшее, которое характеризуется усвоением основоположений эпигонов Канта [1]) и впереди других—натурфилософии Шеллинга. Во главе этого направления стали несколько представителей профессуры и университетской молодежи во главе с профессорами Д. М. Велланским, М. Г. Павловым и А. И. Галичем.

Число поклонников Шеллингова огненного пера, „жгущего селения дряхлой учености", было невелико, причем они развивали и популяризировали идеалистические взгляды не только самого Шеллинга, но и ученика его Окена.

Впереди других познакомимся с Данилой Велланским, врачом-малороссом, ставшим позднее преподавателем в петербургской Медико-Хирургической академии, первым русским шеллингианцем и переводчиком польского шеллингианца, профессора Голуховского

Профессор Даниил Михайлович Велланский (1774—1847), вернувшись из заграничной командировки в 1802 году, начал приготовлять к выпуску два сочинения в духе шеллинговой философии: 1) De reformatione theoriae medicae. 1805, и 2) Пролюзия к медицине, как к основательной науке, 1805 г.

Жалуясь на „слабое внимание публики" к идеалистической философии, Велланский в обеих книгах восхваляет высокий дух натуральной философии и излагает основоположение шеллингианства, что было совершенно в те дни ново. Впрочем, проповедь Велланского в Петербурге успеха не имела. Наш шеллингианец не обезкуражился. Продолжая работать в том же направлении, он издает труд: „Биологическое исследование природы в творящем и творимом ее качестве". Петербург. 1812 г. стр. 454 [2]).

---

[1]) В печати в России о Канте первый писал проф. Казанского университета Лубкин, затем Лодий и Куницын, сочинения которых в 20-х годах были запрещены. Дальнейшими кантианцами были: Чиляев, Наумов, Филимонов, Янов, Ертов и Гевлич.

[2]) Много позднее появляются новые капитальные переработки тех же сочинений Д. М. Велланский: „Опытная наблюдательная и умозрительная физика". Спб. 1831, стр 900, и его же: „Основное начертание общей и частной физиологии или физико-органического мира". Спб. 1836

Не один Велланский пропагандирует шеллингианство в России, в эпоху увлечения французскою философиею.

В самом начале XIX века у нас появляются и другие сочинения, проникнутые шеллингианством. Так, московский профессор Буле дает изложение и критику идей Шеллинга, изложенных в „Vorlesungen uber die Methode etc.“ в журнале „Московские ученые ведомости“. 1805—1807 г. Другой московский ученый, проф. Лубкин, излагает Шеллинга в „Письме о критической философии“, в журнале „Северный Вестник“ за 1805 г. Сочинения же самого Шеллинга так и не появились на русском языке [1]).

Но Буле и Лубкин не были шеллингианцами. Другое дело последователи Велланского, харьковский профессор Хр. Экеблат и киевский Ф. Авсенев.

Наконец, другими видными представителями шеллингианства в ту эпоху были профессора М. Г. Павлов и А. И. Галич.

Московский профессор Михаил Григорьевич Павлов был даровитым ученым и блестящим лектором. Его лекции, представлявшие собою своего рода введение в философию природы, привлекали умы и сердца слушателей. У Герцена сохранился разсказ о сильном впечатлении, которое производила на аудиторию „пластическая ясность“ лекций Павлова. Павлову вторил проф. русской словесности И. И. Давыдов. Они вдохновили группу студентов, посвятивших себя отныне изучению германского „любомудрия“. Эта группа послужила основанием кружку Дм. Влад. Веневитинова и кн. Влад. Фед. Одоевского, известному под именем кружка „архивных юношей“ (И. Киреевский, А. С. Хомяков, А. В. Веневитинов, А. И. Кошелев, В. П. Титов, С. П. Шевырев, И. С. Мальцев и др.) [2]). Они, в начале 20-х годов, издавали журнал „Мнемозина“, под ред. Вильгельма Кюхельбекера и Влад. Одоевского, где проф. Павлов и кн. Одоевский знакомили читателей с шел-

[1]) Это в то же время Фихте нашел себе переводчиков. Мы знаем два перевода: Иван Фихте. „Яснейшее изложение, в чем состоит существенная сила новейшей философии“. Харьков. 1813 и Иван Фихте: „Философские письма о догматизме и критицизме“, перевод Елагина. 1819 г.

[2]) См. П. Сакулин. Князь В. Ф. Одоевский. Спб

лингианством [1]). В 1825 году журнал прекратился, а декабрьское восстание привело к сожжению протоколов заседаний „любомудров".

Проповедь шеллингианства была равносильна реакции против „галломании" или увлечения французской рационалистической философией, что по тогдашнему времени выводило на более широкий путь и вместе с тем сближало с академической наукой. Так понимала свою задачу редакция „Мнемозины" и ее вдохновители, проф. М. Г. Павлов и кн. В. Ф. Одоевский.

Последний особенно рьяно восстает против закоренелых заблуждений „галломании" и желает распространением новых мыслей, „блеснувших из Германии" — „положить предел нашему пристрастию к французским теоретикам". В Москве эта проповедь имела несомненный успех.

В Петербурге роль Павлова играл профессор Александр Иванович Галич, любимый учитель Пушкина и его поколения. В 1818 году он издал свою двухтомную „Историю философских систем", заканчивающуюся очерком философии Шеллинга [2]).

В 30-х годах шеллингианство вновь ожило. Журнал „Европеец" Ив. Киреевского и лекции проф. Н. И. Надеждина поддерживали интерес к шеллингианству. В том же духе были и журналы Надеждина „Атеней" и „Телескоп" (Станкевича).

Правительство николаевской эпохи косо смотрело на натурфилософию. Вообще реакция особенно недолюбливала философию, а философия Шеллинга казалась сугубо опасною. Известный гаситель знания Магницкий называл философию

---

[1]) Об этом кружке см. М. Филиппов: Судьбы русской философии, в журн. „Русское Богатство" за 1894 г. №№ 1, 3, 4, 5 и 8. Статья Д. В. Веневитинова „О кружке 20-х годов", перепечат. в „Русском Архиве" за 1885 г., ч. I. Н. Павлов-Сильванский: „Материалы по истории двадцатых годов" в сборнике его статей „Очерки по русской истории XVIII—XIX вв." Спб. 1910, стр. 239—289

[2]) В 1821 г. Галич вместе с Арсеньевым, Германом и Раупахом был удален „за вредное направление". Галича обвинили в том, что он „явно предпочитает язычество—христианству, распутную философию—девственной невесте христовой церкви, безбожного Канта—Христу, а Шеллинга—духу святому". О Галиче см. А. Никитенко: „А. И. Галич, быв. проф. с.-п. т. унив." Спб. 1869.

Шеллинга — „богопротивною", а занятия ею „вольнодумством и развратом".

В публицистике и широких общественных слоях интерес к Шеллингу поддерживал П. Я. Чаадаев, лично знавший великого немецкого философа и иногда с ним переписывавшийся. Чаадаев остался верен натурфилософии и в ее дальнейшем органическом развитии. В конце 20-х годов, как и некоторые шеллингианцы на западе, Чаадаев подпал под влияние мистиков Юнга-Штиллинга, Экартсгаузена и Сведенборга, имевших в те дни успех и в России.

Произошло это следующим образом. Шеллингианец Чаадаев уехал за границу в 1821 году. В 1825 г. в Карлсбаде он познакомился с Шеллингом, который ему сообщил свои новые воззрения, тогда еще не опубликованные. Они явились выражением того великого перелома в мировоззрении немецкого философа, которое сыграло роль в истории европейской мысли Шеллинг в это время обдумывал свою „Философию откровения", где видную роль играли христология и учение о сатане и его двойственной сущности. Несомненно, что новые идеи Шеллинга нашли прекрасную почву в душе уже уходившего в мистицизм Чаадаева и окончательно закрепили духовный перелом русского мыслителя.

В 1832 году, находясь уже в России и узнав от Н. Тургенева, встречавшегося тогда с философом, что тот читает лекции по своей новой системе, Чаадаев написал Шеллингу письмо с просьбою познакомить его с подробностями курса.

Шеллинг отвечал, затем Чаадаев писал ему вновь спустя восемь лет, поздравляя с переходом на кафедру в Берлин [1]).

---

[1]) Эти письма Чаадаева впервые напечатаны, как приложение к статье М. Лонгинова „Воспоминания о П. Я. Чаадаеве", в журнале „Русский Вестник" за 1862 г. кн. Ноябрь, стр. 157 до 160, и вторично, в переводе Боброва: „Философия в России", Материалы, т. II. Казань. 1900 г., стр. 564 и след.

2. Важнейшие моменты в жизни П. Чаадаева (27 мая 1794 г.—1856 г.).

О П. Я. Чаадаеве сложилась целая легенда, не совпадающая, как доказал Гершензон, с действительностью. Но Гершензон, изучивший жизнь и мышление Чаадаева и разрушивший его легенду, не выяснил ни основ философского мировоззрения Чаадаева до его перелома, ни изложил нам причину „смены" его воззрений. Он, кроме того, не прав в исторической оценке этого замечательного человека. Проследим биографию Чаадаева, касаясь, впрочем, только важнейших моментов его жизни. Как известно, Чаадаев получил блестящее, для своего времени выдающееся образование. С ним занимались профессора московского университета, в те годы располагавшего большими силами. 15-ти лет он поступил на словесное отделение московского университета, где слушал лекции вместе с рядом блестящих сверстников (Николай Тургенев, А. С. Грибоедов, И. Д. Якушкин, И. М. Снегирев, братья Л. и В. Перовские). В университет в те годы, согласно новому уставу 1804 года, вошел ряд новых даровитых преподавателей. Здесь читали Мерзляков, Качеиовский, Баузе, Буле, Шлецер-сын. Два последних, повидимому, давали Чаадаеву и его брату уроки на дому, у его тетки и воспитательницы, княгини Щербатовой (Чаадаев и его брат М. Я. были сироты).

Чаадаев был на редкость начитанным, библиофилом и притом блестящим светским человеком.

Его первый биограф (Жихарев: „Вестник Европы" 1871 г.) рассказывает, что 16-летний Чаадаев был одним из самых блестящих молодых людей московского большого света и одним из лучших танцоров. Он тогда уже отличался тою замечательной аристократической внешностью, которая, при редкой красоте, изяществе костюма и манер, сразу выделяла его среди всего общества. При этом, держась смело и независимо, с громадным достоинством и внушительностью, он необычайно импонировал всюду, где появлялся.

Другой его биограф (Гершензон) говорит, что этот блестящий молодой аристократ был уже удивительно начитан

и поражал резкою своеобразностью ума. „Это был строгий и дисциплинированный как бы от природы, почти не русский ум, в нем не было и следа той распущенности и задушевной мечтательности, которой характеризуют славянское мышление“ (М. Гершензон: П. Чаадаев. 1908 г., стр. 8).

1812 г. прервал занятия Чаадаева, в мае он вступил в гвардию, в рядах которой побывал в битвах под Бородиным, Тарутиным и Малоярославцем, а затем в главнейших сражениях заграничного похода. В 1816 году он со своим полком вернулся в Россию, на постоянные квартиры в Царском Селе, где познакомился и свел дружбу с молодым лицеистом последнего курса Пушкиным.

Три стихотворных послания Пушкина к Чаадаеву, а также письма поэта, ярко характеризуют отношения этих двух удивительных людей России.

Пушкин необычайно высоко ценит умственные и нравственные качества Чаадаева, который, по его мнению, мог бы быть в Риме Брутом, в Афинах—Периклом. „Никогда не забуду“, пишет он Чаадаеву, „твоя дружба мне заменила счастье—одного тебя можно любить, холодная душа моя“.

Пушкин мечтал с ним вместе путешествовать: „Любимая моя надежда была с ним путешествовать“, писал Пушкин в 1832 году. Поэт считал себя многим обязанным Чаадаеву, который влиял на него духовно и который своими хлопотами смягчил участь Пушкина в ссылке.

„Ты был целителем моих душевных сил,—говорит поэт своему другу-мыслителю:

„В минуту гибели над бездной я таенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой,
Ты другу заменил надежду и покой,
Во глубину души вникал строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором,
Твой жар воспламенял к высокому любовь,
Терпенье смелое во мне рождалось вновь“...

Они читали, перечитывали любимых авторов, спорили, вместе развивали „вольнодумные надежды“, в них „кипели еще желания“. Горячо повторяли они слова Пушкина:

„Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлет пребыванья.

Мы ждем в томленьи упованья
В минуту вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуту сладкого свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы
Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена".

Благородный гражданский пафос воодушевлял красавца-философа и гениального юного поэта. Они мечтали о том, чем была полна жизнь лучших слоев их круга, после возвращения из заграничного похода. Растущая волна настроения, завершившегося деспотизмом, несет их к жажде пожертвовать собой для блага родины.

Чаадаев к этому времени уже побывал в масонах, а в 1816 г. он вступил в число членов ложи Amis Reunis, где „братьями" были Пестель, Грибоедов, Волконский, Матвей Муравьев и др. видные декабристы. Но через два года, а именно в 1818 году, он уже покинул, как и большинство декабристов, ряды масонов.

В 1818 году Чаадаев написал недошедшую до нас „Речь о масонстве", где ясно и сильно выразил мысль свою о безумстве и вредном действии обществ вообще. На допросе о масонстве Чаадаев показал, „что в оном ничего не заключается могущего удовлетворить честного и рассудительного человека" [1]). Якушкин ясно и точно свидетельствует, что он принял Чаадаева в число членов Северного Общества.

Можно согласиться с предположением Гершензона, что, не будь отъезда Чаадаева за границу, он все равно не принял бы прямого участья в декабрьском восстании. Человек кабинетный, замкнутый, созерцательный ум, лишенный активности, он вряд ли вышел бы на площадь с оружием в руках. Ведь, при всем глубоком уважении к нему видных декабристов, Пушкин мог сказать: „всегда мудрец, а иногда мечтатель и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель".

---

[1]) Записки И. Д. Якушкина. „Русская Старина" 1900 г. кн. декабрь, стр. 587 и след, также отдельно. М. 2-ое изд. 1905 г., стр. 46—58 и 100.

В эту эпоху нарастания гражданского настроения и томительности, в эпоху организации тайных обществ и выработки их боевых программ, Чаадаев пишет: „Целый народ (испанский) восстал, в три месяца разыгрывается до конца революция — и ни капли крови пролитой, никакой резни, ни потрясений, ни излишества, вообще ничего, что могло бы осквернить это прекрасное дело“.. „Вот разительный аргумент в деле революции, осуществленный на практике. Но во всем этом есть нечто, касающееся нас особенно близко,—сказать ли, что? Могу ли довериться этому нескромному листку? Нет, лучше помолчу, уже и без того меня называют демагогом. Глупцы! Они не понимают, что кто презирает, тот не станет заботиться о его исправлении“ (Письмо Чаадаева к брату 1820 г. 25-го мая).

В 1821 году Чаадаев вышел в отставку. Это было накануне исключительно блестящей карьеры и было сделано, чтобы „высказать пренебрежение людям, пренебрегающим всем“. Растерянность и злоба высокомерных глупцов его при этом тешила.

Оставшись вне службы, Чаадаев мог теперь на свободе поразмыслить над интересовавшими его вопросами. Как уже было сказано, он получил философское образование в духе Шеллинга. Но натурфилософия той эпохи была тесно связана с вопросами животного магнитизма, с общею теософической проблемою.

Основы философии природы Шеллинга путем естественного и логического развития привели к теософии. Это не разрыв или отпадение, а нормальное развитие шеллинговских положений. Это ясно понимает и Куно Фишер в специальном, посвященном Шеллингу, томе „Истории новой философии“ [1]).

Но здесь мы уже на границах сверхчувственного познания и мистики, ибо Шеллинг думает, что природа вообще познается не наукою, а мистическим способом. Ту же эволюцию переживает и Чаадаев. К этому его подготовляют общие мистические настроения русского общества, начавшиеся после 1815 года и все более усиливавшиеся. Мистицизм был

[1]) См Куно Фишер, рус. пер. т. VII, 1905 г., стр. 494.

философскою атмосферою двора придворной знати и многих представителей высшего общества между 1815 г. и 1823 г. Книжный рынок наводнялся переводными сочинениями иностранных мистиков, которых все тогда читали „от митрополита до сельского священника".

Возник „Сионский Вестник" Лабзина, основалось Библейское Общество, возникли мистические секты Котельника и Татариновой. Мистицизм окрасил церковную проповедь, отразился в иконописи и зодчестве, и требовал общего морального перерождения. Он требовал отречения от естественных склонностей—„совлечения ветхого Адама". Он прививал привычку к внутреннему созерцанию—„умное делание" и „умная молитва". Последняя необходима до тех пор, пока не зазвучит „внутреннее слово"—это уже состояние благодати, совпадающее с прямым лицезрением бога. Итак, в основе внутреннее слияние с божеством, которое прекращает все склонности и страсти. Тогда „душа стоит перед Господом в совершенном безмолвии, как почка цветка перед солнцем".

Вот этот новый этап в развитии своей теософии и выявил Чаадаев в 1820 году, а через два года, начитавшись Шеллинга, он начал переживать душевную драму, болезненный кризис, осложнившийся еще хроническими физическими недомоганиями. Для излечения он едет летом 1823 г. за границу. Здесь душевное состояние его более, чем ужасно. Он пытается подавить в себе свой блестящий разум и пройти через мистические настроения „бдения", религиозного экстаза, калечащего всю нервную систему. Сохранился кусок его дневника 1825 года—ряд ярких психопатологических страниц больного из психиатрической клиники. Убивалась индивидуальная воля, душа „сливалась" с волею Христа, разум „немел" в созерцании „божественного духа"—все это при полной и глубоком нервном расстройстве, при паническом страхе смерти, загробного возмездия. Это для верующего, а Чаадаев был таковым, состояние высшего расцвета религиозных настроений и экстатизма.

В таком настроении Чаадаев вернулся в 1826 году на родину. Пройдя допрос и унизительную поднадзорность, он после разгрома декабризма очутился в Москве, уединился

и ожесточился. Лучшие друзья Чаадаева оказались заживо погребенными в казематах, лучшие из них на виселице, столицы духовно опустели, общественный интерес исчез, наступила эпоха черной реакции и морального маразма.

Гнев и безнадежность, бессильное раздражение и бесконечная тоска должны были наполнить душу Чаадаева, надолго ставшего немым затворником, молчащим ипохондриком.

Настроение его мрачного четырехлетнего затворничества (1826—1830) можно характеризовать словами кн. П. Вяземского: „Истинный русский патриотизм может заключаться только в ненависти к России". „Чаадаев,—говорит Гершензон,—имел в эти годы довольно времени, чтобы подвести итог и прошлому России и собственному будущему, и если остаток мужества удержал его от самоубийства, то у него хватило храбрости и на то, чтобы прямо взглянуть в глаза истине и, увидав в них смерть, прочитать отходную себе и России".

В такое-то время, повидимому, между 1829 и 1830 г., он и пишет свою отходную—смесь напряженного общественного интереса людей 14 декабря и увлечения христианской мистикой.

„Отходная"—знаменитые отныне письма, философские письма Чаадаева. Их нельзя излагать, их надо приводить в подлинниках, иначе нарушается их поэтическая меланхоличность и меланхолическая цельность.

3. Отношение Чаадаева к славянофилам.

Оно изложено в ряде его писем за последние 15 лет его жизни. Особенно типично письмо к философу Шеллингу, где он говорит „о пагубном учении" русских националистов и где он называет учение славянофилов ретроспективною утопией. Чаадаев скорбит об их национальном самообмане и самообольщении. В переписке с Тютчевым, Хомяковым и Киреевским он остроумен и насмешлив. Между ними и Чаадаевым всегда была стена. Славянофилы, в противоположность Чаадаеву, обращали свои взоры на православный Восток, между тем Чаадаев ставил об-

разцом католический Запад. Тем не менее у славянофилов и у Чаадаева было нечто общее: они и он приписывали религиозной идее первенствующую роль в развитии культуры.

Но шеллингианец Чаадаев первый открыл славянофилам глаза на общую и преемственную связь идей христианской и исторической философии, и только в этой связи православная идея получила у славянофилов то всемирно-историческое значение, которое составляет одну из основ их миропонимания. Чаадаев по своим историко-философическим воззрениям много ближе к славянофилам, чем к западникам.

Вскоре и славянофилы и Чаадаев пережили одну и ту же эволюцию. Они перешли от пессимизма к оптимизму, от отрицания к признанию. Они пришли к признанию смысла исторической жизни России, которого ни в прошлом ни в настоящем России Чаадаев ранее не усматривал. И так как действительность была безотрадна, этот смысл раскрывался в будущей России, в ее будущей исторической миссии. России, по их мнению, суждено быть спасительницей Запада, ее новым Мессиею. Отсюда делался логически вывод об особом, притом всемирно-историческом пути развития России. Так создалась новая теория социально-исторического развития, так историософски обосновалось новое течение.

Уже в письме к Николаю I (1833) Чаадаев пишет: „Россия развилась совершенно иначе, чем Европа, и у нас есть специальное назначение в мире. Русская нация, великая и сильная, должна не заимствовать от других народов свою деятельность, а заставить их принять свою".

Год спустя Чаадаев думает (в письмах к А. И. Тургеневу, 1834 г.), что „России суждена великая духовная будущность": „она некогда должна разрешить все вопросы, о которых спорит Европа".

Несколько позднее, в своей „Апологии" (1837) Чаадаев так же определенно заявляет: „Я думаю, что мы пришли после других, чтобы сделать лучше их, избежать их ошибок, заблуждений и суеверий".

Чаадаев, таким образом, опередил содержание герценского „С того берега“ и является вместе с тем предтечею русского народничества.

Когда в „Апологии“ Чаадаев говорил: „Мы призваны решить бо́льшую часть проблем социального строя, завершить бо́льшую часть идей возникших в старом обществе, ответить на самые важные вопросы, волнующие человечество“, он предвосхищает идеологию и Герцена, и Чернышевского, и Михайловского. „Чем мы моложе Европы, тем мы старше ее“,—говорит Н. К. Михайловский. Как удачно выразился один историк литературы: „Славянофильство—это Чаадаев на изнанку“.

Западники были против Чаадаева и славянофилов. Но, конечно, Чаадаев им ближе Они также одобряют и его реформу, против которой негодуют наши славянофилы. Типично следующее место из письма Чаадаева к Шеллингу:

„Вам не безызвестно, без сомнения, что умозрительная философия еще с давнего времени проникла к нам, что значительная часть нашей молодежи, жадная до нового просвещения, поспе́шила приобщиться этой совершенной мудрости, которой разнообразные формулы представляют нетерпеливому неофиту драгоценное имущество, освобождая его от мучительного размышления,—мудрости, горделивые замашки которой так нравятся юношеским умам: но вы, вероятно, не знаете того, что мы теперь находимся посреди особого рода интеллектуального кризиса, предназначенного произвести необычайное влияние на будущность нашей цивилизации, что мы стали добычею реакции национальной, страстной, фанатической, ученой—естественное последствие экзотических тенденций, под властью которых мы жили слишком долго; эта реакция, однако, в своей узкой исключительности стремится не к меньшей цели, как радикальная перестройка идеи страны, таковой, как она создалась,—не в силу насильственного влияния какого-либо социального катаклизма (что могло бы несколько узаконить это насильственное возвращение к прошлому), но совершенно просто в силу естественного хода дел, вследствие непогрешимой логики веков, особенно в силу самого характера нации. Итак, философия,

низвергнуть которую с престола вы пришли в Берлин, вводясь и у нас, связываясь с ходячими у нас идеями, соединяясь с духом, над нами ныне господствующим, угрожала нам вполне извратить наше народное чувство, т.-е. тот принцип, скрытый у каждого народа в глубине его сердца, который составляет его сознание,—способ, каким он себя понимает и ведет себя на пути, указанном ему в общем постановлении вселенной. Чудесная эластичность этой философии, которая пригодна ко всем возможным приложениям, создавала между нас самые причудливые мечты относительно нашей роли в мире, о наших будущих судьбах; ее фаталистическая логика, которая почти подавляет свободную волю, все в ней устанавливая на свой образец, которая повсюду находит неумолимую необходимость, должна была, обращаясь на наше прошлое, свести всю нашу историю на ретроспективную утопию, на высокомерную апофеозу русского народа; ее система вселенского примирения с помощью совершенно нового хронологического приема, занимательного образчика наших философских способностей, приводила нас к вере, будто, предвосхищая ход человечества, мы посреди нас уже осуществили ее честолюбивые теории; наконец, она могла бы, может-быть, лишить нас самого прекрасного наследия наших отцов, этой стыдливости разумения, этого воздержания мысли: ее культ с сильною печатью созерцания и аскетизма проник их бытие. Судите же сами, были ли для всех тех из нас, кто серьезно любит свою страну, вы желанным в очаге той философии, влияние которой могло стать для нас столь пагубным. И не думайте, что я преувеличиваю это влияние. Есть моменты в жизни народов, когда всякая новая доктрина, какова бы она ни была, постоянно окажется облеченною в необычайное могущество по причине необычайного движения умов, характеризующего эти эпохи. Итак, надобно признаться, жар, с которым у нас суетятся на поверхности общества, чтобы разыскать какую-то потерянную национальность—невероятен. Шарят во всех уголках истории страны; переправляют историю всех народов мира, им определяют происхождение, общее с привилегированною расою, славянскою расою, смотря по их большей или меньшей заслуге; сдвигают всю кору с земного шара, чтобы

открыть нам права нового народа божия; и пока эта мятежная национальность ускользает от всего этого тщетного труда, выделывают новую, которую имеют притязание навязать стране; она, впрочем, совершенно безразлична к лихорадочному исступлению этой безбородой науки".

Ясно, что дальше это направление развиваться не могло. Нужен был перелом, выход из этого тупика—его дает центральная фигура русского исторического перепутья—Герцен.

4. Александр Иванович Герцен (1812—1870).

Общая характеристика социально-экономических идей русского дворянства в последний период его типично-классового существования, в период 30, 40 и 50-х годов, т.-е. времени между восстанием декабристов (1825) и освобождением крестьян (1861), очень затруднительна, так как в этот продолжительный период перед нами проходит не одно постепенно развивающееся течение, а несколько взаимно переплетающихся и притом разнородных направлений.

Раскинувшийся веером лагерь славянофильства, панславизм, западничество разных оттенков, от умеренного экономического либерализма до социализма и анархизма — целая гамма противоречивых и противоположных мнений, исходных точек и взаимно исключающих аксиоматичных положений. Тут и Хомяков, и Чаадаев, и Герцен, и Белинский, и Грановский, и Бакунин, и Петрашевский. А сколько разнообразных и резких влияний в философии — Шеллинг, Гегель, Фейербах, в экономии — смитианцы, Сен-Симон, Фурье, Прудон.

Сходные экономические условия порождают сходные переломы идеологии.

Поэтому для анализа приходится разбить общую мозаическую картину на ее составные части, по целым группам и отдельным камням, по поколениям и центральным фигурам.

Но, тем не менее,—как в мозаическом произведении резко определяется общность исторического развития, получается как бы общий замысел и гармония соединений внешне раз-

розненного, так и здесь общий смысл процесса этого периода, несмотря на всю его пестроту, все же не должен ускользать от нашего внимания.

Русское общественное мнение, сложившееся при Новикове и Радищеве, впервые определенно и властно раздалось на Сенатской площади и с тех пор не умирало. Оно, вместе с тем, сразу стало резко оппозиционно по отношению к официальной правящей касте, расколов Россию на два враждебных лагеря. Но во враждующем и негодующем стане, который самая черная реакция Николая I не сумела окончательно задушить, перед нами много разнообразных течений. Типичным водоразделом этого потока, мощным волнорезом изменчивых и пестрых течений и является А. И. Герцен. Как полярная звезда в алмазном чертеже неба, так и Герцен дает ключ к пониманию и ориентации общей картины.

Осуществление намеченной задачи облегчается самим Герценом. Он сам указал свое место в истории русской общественности и свою позицию в преемственном потоке ее социально-экономических идей. В 1851 году он пишет „Историю развития революционных идей в России“ (Герцен, А. И. Полное собрание сочинений и писем. 1917 г., т. VI). Проследим эту историю с его же слов.

„После 14 декабря,—рассказывает Герцен, сам переживший это „после“ впечатлительным юношей,—на поверхности официальной России, „фасадной“ империи, виднелись только одни потери, свирепая реакция, бесчеловечные преследования, усугубление деспотизма. Виднелся Николай, окруженный посредственностями, солдатами парадов, балтийскими немцами и дикими консерваторами,—сам недоверчивый, холодный, упрямый, безжалостный, с душою, недоступною высоким порывам, и посредственный, как его приближенные. Непосредственно ниже его выставлялось высшее общество, которое при первом ударе грозы, разразившейся над головой, после 14 декабря потеряло едва перед тем приобретенные понятия о чести и достоинстве. Русская аристократия уже не поднялась при Николае,—она отцвела; все, что имелось в ее среде благородного и великодушного, находилось в рудниках или в Сибири. Все, что оставалось и держалось в благоволении господина, пало до той степени низости или

раболепия, которая известна по картине, нарисованной де-Кюстином“ [1]).

„Но внутри, —продолжает Герцен,—совершалась великая работа,—работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная: всюду росло недовольство, революционные идеи за эти 25 лет распространились сильнее, чем за целое столетие, которое им предшествовало, и все же они не проникли до народа“...

„Умственная работа совершалась не на вершине государства и не у его основания, а между ними, т.-е. по большей части в среде мелкого и среднего дворянства. Факты, которые мы приведем, кажутся не имеющими большого значения, но не надо забывать, что пропаганда, как и всякое воспитание, лишена блеска, в особенности, когда она не смеет даже показаться на свет божий“.

„Влияние литературы заметно возрастает, проникает гораздо далее, чем прежде; она не изменяет своему призванию и остается либеральной и просветительной, насколько это возможно при цензуре“.

„Жажда образования захватывает все новое поколение; гражданские и военные школы, гимназии, лицеи, академии переполнены учащимися; дети самых бедных родителей стремятся в различные институты. Правительство, которое еще в 1804 году приманивало разными привилегиями детей в школы, теперь всевозможными средствами задерживает их прилив; создаются препятствия к принятию, к допущению к экзаменам; ученики обложены платою за учение. Министр народного просвещения простым приказом ограничивает образование крепостных. Тем не менее московский университет становится собором русской цивилизации“.

И вот—„цвет молодежи окружающих Москву губерний направляется в ее университет, и каждый год по всему государству разъезжается целая фаланга окончивших курс в качестве чиновников, докторов или учителей“.

„В глубине провинций и, главным образом, в Москве заметно увеличивается слой людей независимых, не идущих

---

[1]) Книга француза де-Кюстина вышла в 1842 г. и знакомила Западную Европу с правящею Россиею, а книга немца Гакстгаузена, вышедшая в 1847 г., познакомила Запад с русскою деревенскою общиною.

ни на государственную службу ни при императорском дворе, занимающихся управлением своими имениями, наукой, литературой, ничего не требуя от правительства, кроме оставления их в покое".

„Правительство, — продолжает Герцен, — подозрительно смотрело на этих „бездельников" и было ими недовольно. Они, действительно, составляли ядро людей образованных и дурно относящихся к петербургскому режиму. Одни проводили целые годы за границей, привозя оттуда либеральные идеи; другие приезжали на несколько месяцев в Москву, а остальную часть года скрывались в своих поместьях, где читали все, что выходило нового, и держались в курсе умственного развития Европы. Чтение стало модою у провинциальных дворян. Люди хвалились тем, что у них есть библиотека; выписывали, по крайней мере, новые французские романы, „Journal des Débats" и „Аугсбургскую Газету"; иметь запрещенные книги считалось верхом хорошего тона". Все это, конечно, знаменовало собою серьезный перелом общественного настроения, если вспомнить, что „первые годы, следовавшие за 1825, были ужасающие. Только лет через десять общество могло очнуться в атмосфере порабощения и преследований. Им овладела глубокая безнадежность, общий упадок сил. Высшее же общество с подлым и низким рвением поспешило отречься от всех гуманных чувств, от всех цивилизованных мыслей".

Вообще же „невозможны были никакие иллюзии *народ остался равнодушным зрителем 14-го декабря*. Всякий добросовестно мыслящий видел ужасное последствие *полного разрыва* народной России с Россией объевропеизованной. Между двумя лагерями порвалась всякая *связь*,—необходимо было ее восстановить, но как, каким образом? В этом был великий вопрос. Одни думали, что ни к чему не придешь, если оставить Россию на буксире Европы; они полагали свои надежды не на будущее, а на возврат к прошедшему. Другие видели в будущем только несчастие и разорение. Они проклинали ублюдочную цивилизацию и апатичный народ. Душой всех мыслящих людей овладела глубокая грусть".

„Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала

эпоху прошлого, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему. Поэзия Пушкина была залогом будущего и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности и упадка, не поют подобных песен: они не подходят к похоронам".

Так обстояло дело русского общественного мнения к середине 30-х годов.

За Пушкиным раздался голос мужественного публициста 30-х годов Николая Полевого. „Полевой сумел,—говорит Герцен,—удержаться против всякой реакции до 1834 года, не изменяя делу. Мы не должны этого забывать". Театром деятельности Полевого был журнал „Телеграф"; отныне журнальная литература получает влияние на русское общество.

Труд Полевого продолжали Сенковский и Белинский. Но лед проломило знаменитое философическое письмо Чаадаева: „оно было одним из самых важных событий".

„Появился, наконец, человек с душою, переполненною горечью; он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького на душе образованного русского. Это письмо было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к наследникам, а из отвращения"...

„Да, этот мрачный голос послышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой „лишь пробел в человеческом разуме, лишь поучительный пример для Европы". Он высказал России, что прошлое было бесполезно, ее настоящее излишне, и что у нее нет никакой будущности". Симфония отчаяния доведена у Чаадаева до высшего выражения.

Вместе с тем Чаадаев полагал, что единственный способ для России приобщиться к семье европейских народов—это пойти ее путем, единым путем для народов исторических, а не как-то по-своему, самобытно, что равносильно пребыванию вне истории, в варварстве.

Наконец, бегло рассказав о судьбах изящной литературы, Герцен обрывает свое повествование. Здесь как бы место и

время выступить ему самому. И мы знаем, что он заполнил этот пробел, сам составил последующую эпоху развития.

Итак, Чаадаева сменяет Герцен. При том же лиризме сурового негодования, при той же ненависти к тюремным стенам, он, как раз наоборот, вносит яркий факел веры в Россию. Ослепительно пламя его разгорающейся надежды на будущее России; оно руководит и ведет вперед его поколение. Эта вера—чистейший утопизм, оптимистический, наивный и глубоко ошибочный. Но это общий путь его со всем поколением и особенно с теми, кто, как и он, исповедует „мужицкий тулуп“ и принимает общинное трехполье за манящий мираж социалистического рая.

Эта безграничная вера сближает и роднит Герцена с славянофилами. Он вместе с ними и с поэтом Тютчевым думает:

„Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать:—
В Россию можно только верить“.

Итак, место Герцена в цепи развития русской общественной мысли определяется само собой—он продолжатель нити, идущей от декабристов через Чаадаева к будущим поколениям. Герцен подхватывает ее в свои руки, имея по сторонам: с одной—западников, староверов запада, как он называет, с другой — славянофилов. Он сам—перепутье, идейное звено, вместе с тем срединное течение, водораздел двух начавшихся мощных русел русской общественности—западничества и славянофильства.

Не будем в дальнейшем этого забывать.

Проследим теперь самый дух мировоззрения Герцена. Он определяется его отношением и к Западу и к России. Первое выливается в теорию осуждения мещанства западной цивилизации, второе—в учение об особых судьбах России.

I. Мещанство западной цивилизации. „Дух умеренности и аккуратности“ был всегда глубоко ненавистен Герцену.

„Все, что они, мещане, говорят,—истина, но они могли бы говорить что-нибудь иное... Все у них исправно, чинно, на месте... а чего-то нет... а без того и все остальное не в честь“. И вот, убегая от мещан России, Герцен едет на Запад.

За границей, вместо официального русского мещанства, он нашел мещанство европейской буржуазии. „Мелкая и грязная тина его покрывала своею зеленью всю Францию".

„Мещанство,—по Герцену,—последнее слово цивилизации, основанное на безусловном самодержавии собственности, демократизация аристократии—аристократизация демократии. В этой среде Альмавива равен Фигаро; снизу все тянется к мещанству, сверху же в него падает за невозможностью удержаться".

Даже рабочие всех стран—будущие мещане.

„Все становится гуртовым, рядским, оптовым, всем доступным, без эстетики и личного вкуса". Это чинная паюсная икра сплоченной посредственности, где нет личности, души, индивидуальности,—посредственность, трафарет, вялое однообразие, где ненавидят беспокойное и эксцентричное, и подымающееся над уровнем.

Анти-мещанство, анти-буржуазия, анти-капитализм, — как противовес духу развития Запада. Отсюда свой не мещанский дух развития России, свой собственный русский социализм, или русский вариант социализма,—а именно славянофильски-герцено-народнический.

II. Учение об особых судьбах России. Из только-что сказанного вытекает вопрос об особых путях развития России. Этот путь, как мы видели, согласно историко-философским взглядам Герцена, как особый путь, вполне возможен. Необходимости повторений Запада в России нет.

Оконченный труд и добытый результат входят в общее достояние всех понимающих. Это „круговая порука прогресса, майорат человечества". Герцен сравнивает Запад с Россиею, взяв пример развития путей сообщения.

Проселок.—Шоссе.—Железная дорога.

„Абсолютный тулуп"—вот формула Герцена.

Россия, минуя „полосу меньшинства", минуя „полосу капиталистического развития", идет своим путем. При этом, поучаясь опыту Запада, она в развитии своей идеологии осуществляет „синтез славянофильства и западничества".

Итак, в будущем России объединяются труды славянофилов и опыт западников („западных старообрядцев").

Другими словами, получается следующее.

Содержание синтеза Герцена:

1) в него входит все ценное из учения славянофилов, но без их „консервативного доктринерства“,

2) все ценное из учения западников, но без их „либерального доктринерства“.

Отсюда и формула синтеза, синтеза, как говорит Герцен, органического: народный русский быт и наука Запада.

Эта формула на рубеже 40-х и 50-х годов могла казаться откровением, но при свете опыта и идей нашего времени явно ошибочна и примитивна. Это mixtum compositum самых несоединимых частей, как гвоздь и панихида Горбуновского рассказа.

Но вернемся к философии истории Герцена.

Он полагает и совершенно справедливо, что „община“ и „личность“ — социальная антиномия, пока неразрешимая.

Телеология, по Герцену, та же теология. В истории только процесс, а не прогресс развития. Цель жизни — не ее будущее, а сама жизнь.

Так Герцен порывает со своим мистицизмом, который им одно время завладел. В самом конце 30-х годов мистическое настроение было на высшей точке его развития. В 1838 году он даже впервые исповедывался. Затем наступил кризис. „Я слишком огнен“,—говорил он.

С начала 40-х годов начинается „европеизация“ Герцена. Он быстро переходит от одного направления к другому. Влияние Запада определяется следующими этапами:

1. Гегель и Фейербах, они уводят Герцена от мистики и романтизма, от религии наивной и философской примитивности.

2. Сен-Симон дает Герцену определенную апологитическую экономическую программу; религиозный утопизм оформляет сознание Герцена.

3. Прудон вытесняет Сен-Симона и прививает начатки анархизма. Утопизм Герцена приобретает новый антигосударственный, антицентралистический характер.

4. Роберт Оуэн.

Все перечисленные влияния глубоко ассимилируются Герценом и входят, как составные части, как отдельные

грани, в то своеобразное собственное учение Герцена, которое, к сожалению, не получило определенного наименования, хотя представляет собою совершенно определенный и законченный комплекс идей.

Герцен, как и все его современники, начинает с гегельянства. Гегель представляет собой тот гранит, который грызут молодые зубы его поколения.

Изучались логика, обе эстетики, энциклопедия, „изучались до дыр, до потери страниц".

Перлы абстрактизма были тогда в полном обиходе. Например, „конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, с которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу обратного сознания красоты".

Гегель же объединил Герцена с Белинским и Грановским (в 1842 г.) против славянофильства и славянофилов.

Но раньше, чем рассмотреть собственное мировоззрение Герцена, разберем западные на него влияния.

Гегель. „Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей. Таков он в первых сочинениях, таков он везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая „бранденбургские ворота".

„Философия Гегеля—алгебра революции. Она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может-быть, с намерением дурно формулирована".

„По счастью, схоластика так же мало свойственна мне, как и мистицизм. Я до того натянул ее лук, что тетива порвалась и повязка упала".

Огарев, Сатин, Кетчер, Белинский, Бакунин, Станкевич—все в 1839 году правоверные гегельянцы. Таким же на Западе был в это время и Карл Маркс, переживавший то же, что и Герцен в России.

Гегель и Фейербах. Идеалистическая философия вообще оказала громадное влияние на Герцена. Она опре-

делила его взгляды на философию истории, на сущность исторического процесса. По мнению Герцена, вся история— случайная импровизация, сплетение нелепостей и частных случаев. В ней нет ни плано- ни закономерностей. Путь человечества неизвестен,—это terra incognita. Будущего нет, отсюда необходимо дорожить только настоящим. Итак, роль случайности чрезвычайно велика. „Мало ли что может быть,— восклицает Герцен.—Энкиева комета зацепит земной шар, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном; какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание—вот вам и финал истории".

Развитие в природе и истории допускает множество вариаций и возможностей.

Возможно, что Россия пойдет по общему руслу, возможно, что и нет. Ей возможен и особый путь развития, что зависит от воли и сознания людей. Герой и вождь могут при этом и отсутствовать. Народы могут обходиться и без них. Гений—роскошь истории, ее поэзия, ее coup d'état, ее скачок, торжество ее творчества. Но все же истинным двигателем и творцом событий является человеческая личность. Отсюда громадная роль в русской истории личностей и характера ее императоров. „Патология и характеристика Екатерины, Павла и Александра—единственный ключ к пониманию истории нового времени".

„Если бы Александр Николаевич захотел . . . ." неясно выраженная идея социальной монархии, аполитизм. Общая струя с Лорен-Штейном, Родбертусом и всею соответствующею полосою.

Идеологической философии Герцен изменяет только в одной области, в экономике. Здесь он признает и закономерность. Он признает также и роль пролетариата, который он называет „городские работники". Они—по Герцену— искренний и настоящий элемент революции, они стремятся дискредитировать идею социальной гармонии и воздать буржуазии тою же монетой, что и та платила им. Все приобретения революции—дело рук среднего слоя и городских работников. И в будущем движении пролетариат станет на первом месте.

Фейербаха привез Герцену из-за границы Огарев, который так же, как его современник Карл Маркс, прошел через увлечение фейербахианством. То же влияние оказал Фейербах и на Чернышевского, тоже узнавшего, что „не бог создал человека, а человек создал бога по образу и подобию своему". В это же время Герцен занят задачею сочетать индивидуализм с общественностью, личность с государством; это труднейшая задача, поставленная „современным мышлением". Он в то же время знакомится и следит за развитием социалистической мысли в Европе.

Фурье, Луи-Блан, Консидеран и особенно Прудон—его настольные книги.

Сен-симонизм, этот ранний утопический социализм, повлиял на Герцена двумя основными мотивами: освобождением женщины и оправданием плоти. „Вот,—восклицает Герцен,—великие слова заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный, а потому нравственно-чистый".

Сен-симонизм, как вообще социализм, не воспринимался Герценом, как узкое экономическое мировоззрение. Нет, это было для него общее мировоззрение, целое благовещение нового мира. Поэтому в сен-симонизме Герцен высоко ценит религиозный характер. Сен-симонизм ему ближе фуьеризма. „У Фурье,—говорит он,—убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании; счастье, что ученики Фурье заслонили учителя своими сочинениями". „В широком светлом фаланстере фурьеристов тесновато".

Герцену не по душе фурьеристская регламентация брака и семьи, они ему кажутся и лицемерными и католическими. Фурье вообще,—думает Герцен,—не понимал женщины.

Вообще утопизм обеих систем, по Герцену, только „величайшие пророчества будущего", но не рецепты для данного момента.

Знаменитый мемуар о собственности Прудона Герцен называет „прекрасное произведение, оно не ниже, но выше того, что о нем говорили и писали. Развитие превосходно, метко, сильно, остро и проникнуто огнем". Герцен высоко

ставит и диалектику Прудона, его контроверзы социального вопроса.

Позднее он превозносит Прудона, считая, что он „начинает собою новый ряд французских мыслителей“ и что „его сочинения—переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики“.

Под влиянием Прудона Герцен против государства и парламентаризма, за социальную революцию. Он предсказывает будущую гражданскую войну европейских народов. Он говорит: „Вся Европа выйдет из фуг своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики остановятся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после тридцатилетней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управление. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку, унося с собой от гибели—кто деньги, кто науку, кто начатый труд. Из Европы сделается нечто вроде Богемии после гусситов. И тут—на краю гибели и бедствий—начнется другая война—домашняя, своя—расправа неимущих с имущими“.

Эта расправа будет еще более жестокой. Герцен не сомневается в том, что пролетарий будет мерить в ту же меру, в которую ему мерили. „Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Середь грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест—явятся новые заповеди, крупно набросанные черты нового символа веры. Они сочетаются на тысячу ладов с историческим бытом; но как бы ни сочетались они, основной тон будет принадлежать социализму; современный государственный быт с своей цивилизацией погибнут—будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы. Вам жаль цивилизации. Жаль ее и мне. Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения“.

Тот же Прудон слышится и позднее, когда Герцен снова пытается обрисовать момент социального переворота.

„Или вы не видите новых христиан, идущих строить; новых варваров, идущих разрушать. Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час—Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому,—ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, от холода, они роются над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время, как мы с вами, „шампанским вафли запивая", толкуем о социализме".

Но эти жестокие картины революционного разрушения старого мира, несомненно, рисовались Герцену лишь в тот период, когда он был под сильнейшим влиянием Прудона, вообще сыгравшего видную роль в истории умственного развития своего поколения.

С Оуэном Герцена сближает тактика. Они оба мечтают о мирном реформизме, как вообще все утописты. Известно, что Сен-Симон, Фурье, Консидеран и Кабэ стояли за пропаганду и за пример, а не за активное действие. Все утописты питали ненависть к политике. Прудон защищает типичное классовое соглашательство: объединение буржуазии с пролетариатом. Его газета „Voix du Peuple" стоит за смягчение классовой борьбы. Все они боятся революции, насилия, классовой борьбы и призывают к мирному решению социального вопроса.

Консидеран предлагает устроить ассоциацию для примирения классов.

Герцен тоже радовался мысли что экономический переворот можно разрешить общими миролюбивыми социально-государственными мерами, без насильственных переворотов. „Эксперимент Оуэна,—писал Герцен,—доказывает, что мирная реформа общества возможна". Таков был конечный этап развития нашего утопизма, лишенный исторической перспективы и пролетарской революционности. Их и нельзя требовать от буржуазной идеологии, хотя бы и утратившей свою классовую основу.

ГЛАВА XII.

РАЗВИТИЕ ЗАПАДНИЧЕСТВА.

1. А. И. Герцен и М. И. Михайлов.

Далее мы вступаем в полосу истории русской общественной мысли, входящую уже в течение социализма, о котором будет итти речь особо. Но Герцен еще на перепутьи. Он еще западник.

Наличность западничества в русском обществе, начавшем процесс самосознания, так же понятна, как и уклон в сторону самобытности. С первых же моментов связи России с Западом появляется склонность и тяготение к Западной Европе. Это идет „сверху". Бояре Ордын-Нащокин и Матвеев, императоры Петр Великий и Петр III, Екатерина II, Радищев и Новиков, вольтерьянцы и декабристы — были каждый по-своему русскими западниками. В течение полутора столетий наиболее выдающиеся представители этого уклона признавали духовную солидарность России с Западной Европой, как нераздельных частей одного культурно-исторического целого, имеющего за собою все человечество. В 30-х годах это подражание и увлечение Западом было поставлено во главу угла и превратилось в значительное общественное течение. Естественно, что первые западники стали антагонистами первых славянофилов. Наиболее типичными выразителями западничества были: Белинский, Станкевич, Грановский, Герцен, Огарев, Кавелин и вообще так называемые „люди сороковых годов".

Западничество в России явление не новое. Еще в Петровскую эпоху, а особенно в конце XVIII века, в так назыв. „Екатерининскую" эпоху в высшем русском обществе можно усмотреть не только общее западничество, но даже определенно выраженные течения. Таковы, например, два резко отличных друг от друга направления, как вольтерьянцы и мартинисты-мистики. Владимир Соловьев считает, что русское западничество пережило три, впрочем, одна другую не упразднивших фазы, а именно: теократическую (увлечение Чаадаева римским католичеством), гуманитарную

(рационализм и либерализм 40-х годов) и натуралистическую (позитивизм и социализм 60-х годов). Эта схема, безусловно искусственная, несмотря на кажущееся расширение каждой из последующих фаз, интересна, как попытка выяснения процесса идейного развития.

Воспринимая все лучшее из западно-европейской культуры и знания, наши западники горячо желали усвоения русским народом европейских начал и возможно большего и широкого распространения на родине духовного света и просвещения. Стремясь к европейцам, русские западники различно относились к Западу. Одни обращали внимание только на все более светлое и благородное из современной им западной жизни, другие же относились критически к Западу, видели и его темные стороны, и потому стремились заимствовать только „светлые идеалы" передового европейского общества. Одни, таким образом, желали пересадить в Россию только наличную культуру Запада, другие мечтали об усвоении, кроме настоящего, и тех же идеалов будущего, социализма, который уже являлся путеводной звездой для лучшей части европейской интеллигенции.

Второе направление неизбежно должно было проникнуться или господствовавшими тогда французскими коммунистическими теориями (Герцен, Огарев, Бакунин, Галахов), или немецкою философиею, шеллингианством, позднее гегельянством (Белинский, Станкевич, Грановский и проч.). Начинается зарождение социализма в России, воспринимаемого параллельно с его западным развитием. К первым непосредственно примыкают первые русские сен-симонисты, а затем „петрашевцы", русские фурьеристы, т.-е. русские коммунисты, последователи Фурье. Для всех социалистов вопрос о судьбах дальнейшего экономического развития был также важен и значителен: он определял направление их теоретического „символа веры" и практической „политики". Для западников-социалистов весь вопрос приобретал особо важную постановку: идеалы, уже определенные и выработанные другими, оставалось только усваивать.

Теперь спрашивалось, нужно ли для достижения у себя на родине лучшего будущего, хотя бы социалистического строя в духе Фурье, проходить предварительно ту же стадию

развития: капитализм—пролетариат, через которую проходит Запад, или нам можно прямо и непосредственно, минуя „опыт Запада", перейти к социализму? В 40-х и 50-х годах вся русская передовая интеллигенция,—тут славянофилы и западники много не рознились,—отвечали единогласно: да, возможно перейти непосредственно, все зависит лишь от доброй воли. Они полагали, что для этого в России имеется уже достаточно подготовленная почва: общинное землевладение и „исконное" тяготение народной массы к артельным формам.

В общине и артели усматривали исторические, прирожденные народу принципы социализма, следовательно вопрос о дальнейшем ходе русского исторического процесса решался сам собою.

Таково было ставшее историческим решение вопроса. Вся русская интеллигенция не знала иного ответа на заданный вопрос целых полвека. Она признала возможность обхода „западного образца" развития. Тот же ответ вновь повторило и новое, сменившее славянофильство, поколение—народничество.

Первый, кто точно формулировал изложенный ответ, был Александр Иванович Герцен. Герцен—русский сен-симонист, т.-е. социалист вообще, затем его развитие идет через Гегеля и Цешковского к Ежегодникам Руге.

Герцен, как и все другие немногочисленные тогдашние социалисты (Огарев, Бакунин, Петрашевский), был естественно горячим противником капитализма и считал развитие пролетариата и пауперизма—жестоким злом мировой цивилизации. Россия, по его мнению, счастлива тем, что всего отрицательного на Западе не знает, а в будущем должна мудро обойти и тем самым „перешагнуть" через этот мрачный фазис развития. Герцен, подобно Руссо и Прудону, вообще презирал цивилизацию и считал крестьянство единственно-здоровым элементом. По мнению Герцена, русские крестьяне, в противоположность Западу,—должны быть освобождены с достаточным наделом земли, а интересы крестьян-земледельцев должны быть в стране первенствующими. Все остальное и все будущее страны должно быть смело предоставлено „счастливому инстинкту народов". В то же

время политический идеал Герцена был тот же, что и у декабристов — членов Общества Соединенных Славян,—а именно, демократическая федеративная славянская республика.

Неправильно усматривать в Герцене русского фейербахианца. Это строго установил Густав Шпет [1]).

Герцен не слепо принимал общину; он видел в русской общине еще „неразвитый коммунизм, способный подавлять личность".

Но все же он отрицал необходимость для России того исторического развития, которым медленно проходит вся Западная Европа, и не видел необходимости для России, в ее достижении социализма, переходить от натурального хозяйства к капитализму, т.-е. повторять все неизбежные ошибки последнего в России.

„Должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам? Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений",—писал Герцен в 1853 году Линтону. „Мы, пожалуй,—продолжал Герцен,—должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников (народов Западной Европы), но так, как зародыш проходит до рождения все низшие степени зоологического существования. Оконченный труд и добытый результат входит в общее достояние всех понимающих—это круговая порука прогресса—майорат человечества". Это эмбриологическое развитие, думает Герцен, Россия уже проходит своим правительством и дворянским классом. „Народу же русскому не нужно начинать снова этот тяжелый труд": он уже пройден одним из его классов. Тот мост, по которому народ русский может прямо перейти от натурального хозяйства к социалистическому строю, есть, по мнению Герцена, русская деревенская община. „Русский народ,—говорит Герцен,—стали узнавать только после революции 1830 года. С удивлением увидели, что русский человек—

[1]) Г. Шпет: Философское мировоззрение Герцена. Экскурс II Герцен. Фейербах. Петроград 1921 г.

равнодушный, неспособный ко всем политическим вопросам—бытом своим ближе всех европейских народов подходит к новому социальному устройству". Отсюда, ввиду полного признания Герценом этого „нового устройства" за непоколебимую истину, понятна и его программа. „Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное устройство по городам и всему государству, сохраняя народное единство,—вот в чем состоит вопрос о будущем России, т.-е. вопрос той же социальной антиномии, решение которой занимает и волнует умы Запада".

Мы имеем в воззрениях Герцена дело с совершенно особыми, определенно славянофильскими взглядами. Только, ввиду наивной и скудной терминологии нашего общественного движения, Герцен долго и упорно именуется „западником", между тем в его лице мы имеем перед собою особое, связанное с ним и им возглавляемое течение. Вглядываясь в пестроту сменившихся у него идей, в особенности мировоззрения этого замечательного, чисто-парадоксального ума, отказываешься от эпитета „западник", эпитета многих, и отчисляешь Герцена к небольшой группе лиц, исключительных по самобытности и своеобразных до исключительности, в особое течение. У него свое мировоззрение, своя структура идей, своя, герценовская социальная философия. Эпитет „западник" не определяет и не исчерпывает Герцена с общепринятого масштаба. Герцен единовременно был и не был западником. Он—сам источник самостоятельных идей и сам стоит на перепутьи нескольких мировоззрений, создавая свой обособленный круг и свое течение мыслей. Как Руссо или как его друг и отчасти единомышленник—Прудон, Герцен не укладывается на Прокрустово ложе номенклатуры, создавая беспокойство ученому педантизму и вводя своим именем новый термин для нового цикла идей. Таких людей при их жизни обыкновенно или яро ненавидят, или слепо чтут, но только очень поздно, и то по их смерти, понимают. В мировоззрении Герцена не было классовой определенности и ясности. Смутность его классовых интересов и симпатий барина, отказавшегося от барства, анархичность мышления и позиции—вносили ту же смутность и неопределен-

ность, которая была характерна для эпохи переходного времени в стране, переживавшей громадный исторический кризис. Только сбивчивость и неопределенность всего социально-экономического уклона создавали этот типичный круговорот идей и симпатий

Жизнь, исключительная судьба и тогдашняя историческая роль Герцена были уже нами выше изложены. Его общественные и политические симпатии и заветы были ясны и понятны многим в его время, он был только более шедший впереди—более блестящий и талантливый современник, но общий строй его социально-экономических воззрений, его социальная философия не так ясна. Генезис идей мало изучен, влияние только отчасти прослежено.

Между тем, типичный публицист и трибун, Герцен более всего является экономистом, в широком смысле социал-философом. Герцен по своему подходу к русской жизни прежде всего экономист. Он ясно и твердо видит прежде всего только экономическую сущность истории, желает знать только экономическую сторону и жизни и социальной теории. Герцен говорит: „Экономический вопрос есть главнейший, существеннейший, единый спасающий. До сих пор люди все толковали о фасаде, о гербах, о заборах и сенях, о границах и церемониалах. Те же, которые сказали миру: „ты печешься о многом—едино же на потребу: экономическое устройство“,—те первые поняли, что подлинник готов, что пора жить и полно обстраиваться. Свести кровавые религиозные вопросы на человеческие и кровавые политические вопросы на экономические,—в этом вся задача современности“ (Герцен: Россия и Польша. „Колокол“, №№ 32—33. 1 января 1859 года). „Социальный, экономический вопрос—Magnum Ignotum (великое неизвестное) нашего времени“,—писал Герцен в другом месте, спустя пять лет („Колокол“, № 178).

Идеи Герцена в 60-х годах повторил Михаил Илларионович Михайлов, замечательный, только теперь выясняющийся русский деятель и писатель, но уже переходный в „подполье“.

„Освобождение крестьян,—писал Михайлов,—есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастью, к благосостоянию политическому или экономическому, или к экономическому или политическому пролетариату". Другими словами, Россия с момента освобождения крестьян имеет перед собою *два пути*: или непосредственный переход к социализму,—что сулит лучшее будущее, или к нормам Запада,—что приводит к несчастью. Исторические и наличные условия, повидимому, для Михайлова безразличны: все зависит от доброй воли. „*От нас самих зависит избрать путь к тому или к другому*". Эта формула—неисторическая формула—стала прямо-таки исторической в ходе нашего общественного развития. В логической постройке этой формулы всегда участвовали две предпосылки: 1) Россия—tabula rasa, 2) личная воля создает историю. Эта своеобразная конструкция идей Михайлова, уже намечавшаяся Герценом, была, как мы увидим ниже, свойственна и Чернышевскому, а затем позднее унаследована и развита нашими народниками.

В другом месте той же прокламации Михайлов высказывается против стремления некоторых подражать во всем Европе, в частности Англии, и против тенденций конституционализма и индивидуалистической политической экономии. „В последнее время расплодилось у нас много преждевременных старцев, *жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек*. Эти господа не понимают, что он приучает нас только считать гроши, что он разъединяет нас, *толкая в тесный индивидуализм*. Они не понимают, что не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями. Начиная материальными стремлениями, еще придем ли к благосостоянию,—*односторонняя экономическая наука нас не выручит из беды*. Напротив, откинув копеечные расчеты и стремясь к свободе, к восстановлению своих прав, мы завоюем благоденствие, а с ним, разумеется, и благосостояние, т.-е. то, чего нам так хочется,—деньги. А эти, к *несчастию, плодящиеся у нас конституционные и экономические тенденции* ведут к консерватизму; они ведут к сословному разъединению, к созданию привилегированных

классов. Хотят сделать из России Англию и напитать нас английской зрелостью. Но разве Россия по своему географическому положению, по своим естественным богатствам, по почвенным условиям, по количеству и качеству земель имеет что-нибудь общее с Англией? Разве англичане на русской земле не вышли бы тем, чем они вышли на своем острове? Мы уже довольно были обезьянами англичан. Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком.

Нет, нет, наш путь иной.
И крест не нам нести....

Пусть несет его Европа. Да и кто же может утверждать, что мы должны итти путем Европы, путем какой-нибудь Саксонии, или Англии, или Франции? Кто берет на себя ответственность за будущее России? Кто может сказать, что он умнее 60-ти миллионов, умнее всего населения страны, что он знает, что ей нужно, что он приведет ее к счастью? Где та наука, которая научила его этому, которая сказала ему, что его взгляд безошибочен? По крайней мере, мы не знаем такой науки; мы знаем только, что Гнейсты, Бастиа, Моли, Рау, Рошеры раскапывают навозные кучи и хотят гниль прошедших веков сделать законом для будущего. Пусть этот закон будет их законом, а мы для себя попытаемся поискать другой... Мы не только можем, но и должны прийти к другому. В нашей жизни лежат начала, вовсе неизвестные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. Мы можем точно прийти, если наденем на себя петлю европейских учреждений и порядков; но мы можем прийти к другому, если разовьем те начала, какие живут в народе"...

Несколько далее Михайлов говорит: „Мы народ запоздалый, и в том наше спасение. Мы должны благодарить судьбу, что не жили жизнью Европы. Ее несчастье, ее безвыходное положение — урок для нас. Мы не хотим ее пролетариата, ее аристократизма, ее государственного начала, ее централизующей власти... Мы хотим сохранения общинного владения землею, с переделами через большие

сроки. Правительство тоже не знало народа, а между тем русская мысль зрела, мы изучили экономическое и политическое устройство Европы, мы увидали, что у них неладно, и тут-то мы поняли, что имеем полную возможность избегнуть жалкой участи Европы настоящего времени". Вот знаменательные слова, определившие дальнейшее мировоззрение интеллигенции и надолго, вплоть до начала 90-х годов, установившие социально-философскую конструкцию обсуждения вопросов о судьбах России. Проследим развитие этого вопроса дальше, в следующем поколении, у Н. Г. Чернышевского и его единомышленников.

2. Н. Г. Чернышевский и Н. К. Михайловский.

Преемники Герцена и Михайлова, шестидесятник Н. Г. Чернышевский и типичный семидесятник Н. К. Михайловский, не дали нового решения вопроса и только с новою талантливою аргументациею повторили Герцена и Михайлова. Чернышевский отстаивал в одно и то же время русскую общину и мечтал так же, как и петрашевцы, о фаланстерах Фурье. Но кроме Фурье он уже увлекался и Луи-Бланом и его мастерскими, которые стали известны после 1848 года.

Статья Чернышевского: „Критика философских предубеждений против общинного землевладения", вышедшая еще в 1857 году, служит характерным образчиком экономического мировоззрения как Чернышевского, так и лучших людей „60-х годов". Чернышевский доказывает (по диалектической методе), что переход от русской общины к коммунизму крайне легок. Описание же устройства русской общины Чернышевский тоже цитирует по Гакстгаузену. Но Чернышевский не приписывал славянству каких-либо национальных особенностей. В одном из своих известных „примечаний" к Миллю он категорически высказывается против предубеждения, „будто один народ, по самой своей прирожденной натуре, по своей расе, не способен к тому, к чему способен другой народ также по своей расе" (Милль: Основания полит. экономии,

перевод Чернышевского, т. I. Спб., 1860 г., стр. 28. прим.). В общем он повторяет герценовские взгляды и думает, что порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта. Вообще же Чернышевский только популяризировал все то, что тогда считалось передовым и радикальным на Западе, хотя иногда и с запозданием. Так, он был демократ и социалист в духе „старой школы“ Сен-Симона и Фурье, тогда уже забытых на родине. В то же самое время Чернышевский не признавал за западно-европейским пролетариатом никаких иных преимуществ, кроме одного громадного недостатка — пауперизма, и в капитализме не видел ни одного зародыша, могущего быть с пользою развитым в будущем. Он боялся только, чтобы наступающее освобождение не лишило крестьян общинного землевладения, и в этом также повторял требование Герцена и желание славянофилов.

Так завершал свое развитие наш мелко-буржуазный социализм. Так заканчивала свою историю идеология русской перерождавшейся и терявшей свой классовый характер буржуазии.

Надвигалась новая эпоха—русская история XIX века все теснее входила в период развития и оформления социалистической мысли. Поэтому необходимо проследить зарождение и развитие социализма в России. Этой особой теме посвящен второй том обзора „Истории экономических идей в России“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Глава I. Зарождение денежного хозяйства в России (Накануне меркантилизма).

1. Киевская Русь 3
2. Смысл первых памятников. Охрана и защита капитала 7
3. Древне-русский торговый капитал 10
4. Древне-русский протест против социального неравенства и экономического гнета 13

Глава II.—Зарождение меркантилизма.

1. Отличие Московской Руси от Киевской 18
2. „Домострой" попа Сильвестра 24

Глава III.—Упрочение меркантилизма.

1. Рост монархизма и борьба классов за монархию 31
2. Теория Третьего Рима и националистическая реакция: зарождение меркантилизма 35
3. Первый теоретик бюрократического монархизма Иван Пересветов, идеолог поместного дворянства 38

Глава IV.—Первые меркантилисты.

1. Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин 41
2. Юрий Крижанич (1618—1683) 44
3. Иван Посошков (1670—1726) 53
4. Остальные меркантилисты.—„Пропозиции" Федора Салтыкова 60

Глава V.—Иностранные влияния в русском общественном мнении.

1. Заимствования у немцев (эпоха Петра) 64
2. Французское влияние 69
3. Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) 72
4. Новые общественные деятели. Первые русские „европейцы"-интеллигенты. Новиков и масоны 77
5. А. Н. Радищев (1724—1802) 84
6. Иван Петрович Пнин (1773—1805) 90

Глава VI.—Начатки аграрного капитализма в России.

1. 93
2. Физиократизм в России 94
3. А. Т. Болотов (1638—1733) 103
4. „Английская" и немецкая системы сельского хозяйства 105
5. 109
6. Отец агрономии Теэр и Московское Общество Сельского Хозяйства . 113
7. Утопизм XVIII века 117

Стр.

Глава VII.—**Укрепление промышленного капитала.**

1. Классическая школа (смитианство) 124

Глава VIII.—**„Декабристы".**

1. 133
2. 14 декабря 1825 года 141
3. Экономические воззрения декабристов 146

Глава IX.—**Фритредерство и протекционизм.**

1. 157
2. Николай Иванович Тургенев (1789—1871) 158
3. Фритредеры в России 165

Глава X.—**Протекционизм.**

1. Граф С. Н. Мордвинов и граф Е. Н. Канкрин 169

Глава XI.—**Славянофильство.**

1. Историки 176
2. Гердер 178
3. 182

Глава XII.—**Шеллингианство в России.**

1. 200
2. Важнейшие моменты в жизни П. Чаадаева (1794—1856) 205
3. Отношение Чаадаева к славянофилам 210
4. Александр Иванович Герцен (1812—1870) 214

Глава XIII.—**Развитие западничества.**

1. А. И. Герцен и М. И. Михайлов 227
2. Н. Г. Чернышевский и Н. К. Михайловский 235

Того же автора:

История развития экономических идей в России. — Том II.

История профессионального рабочего движения в России. — Том I.

История профессионального рабочего движения в России. — Том II.

История социализма.

Практический справочник к изучению народного хозяйства.
